



Евгений Курдаков

Дождь золотой

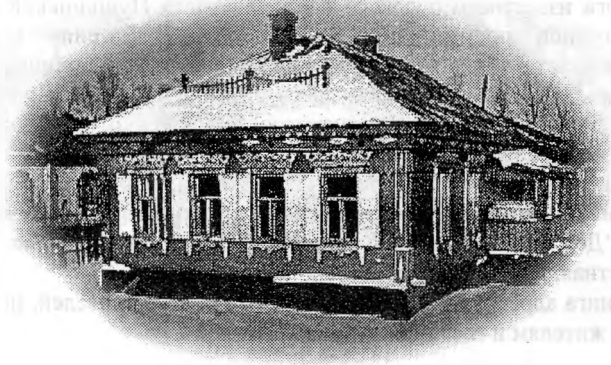
г. Бузулук
2002

Редакции
газеты "Российская провинция"
по поручению автора передать
январь 2003г. Мичурин

Евгений Курдаков

ДОЖДЬ ЗОЛОТОЙ

Рассказ, очерки, эссе



Бузулук
2002

Курдаков Е.В.

К 93 Дождь Золотой: Очерки, рассказ, эссе. - Бузулук, 2002. - 170 с.

Книга известного русского поэта, лауреата Пушкинской премии, литературной премии "Капитанская дочка" Евгения Курдакова "Дождь золотой" целиком посвящена его творческой родине - Бузулуку. Здесь прошла его юность, здесь он закончил школу, работал на заводе. Здесь начинались первые стихи поэта, те, которые позже светлой музыкой воспоминаний отзовутся на всём его творчестве.

Главная тема книги - время нашей жизни, сложное, трудное, но и счастливое время поколения середины прожитого века. В жанровом плане "Дождь золотой" - это редкая сейчас т.н. *проза поэта*, глубоко личностная, лирическая, предельно искренняя.

Книга адресована самому широкому кругу читателей, но прежде всего - жителям и гостям Бузулука.

ББК 84(2 Рос-Рус)

© Курдаков Е.В., 2002

© ГУП "Бузулукская типография", 2002

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

(три эссе)



Сестре Людмиле

*Наверное, можно быть где-то счастливее,
Но стал нам судьбой или роком, Бог весть,
Тот город, та Двадцать вторая линия,
Дом двадцать шесть.*

*Он плыл, словно странный Ковчег неприкаянный,
Дом юности нашей, сквозь годы, туда,
Где тлела во тьме неудач и отчаяний
Наша звезда.*

*Она трепетала лучами неясными.
Зависнув над чёрною пропастью лет...
Но мама слепыми глазами прекрасными
Видела свет.*

*Тот свет, что хранил нас святыми молитвами,
И вывел к иным берегам, очагам,
Где вот уже прошлое снами забытыми
Кажется нам.*

*...Звезда дотлевет, сгорая, и тающий
Наш век остаётся лишь только для нас,
Для наших стихов, для подруг и товарищей,
Век-невеглас.*

*Где тихо уходят по снежному крошеву
Сквозь сад наш безгрешный, грешны и хмельны,
Друзья и подруги по веку, по прошлому, -
В последние сны...*

1. Оренбургский букет

Этот альбом я помню с тех пор, как помню себя. Можно сказать, что он явился одной из начальных форм моего человеческого пробуждения. С самого раннего детства альбом меня развивал, воспитывал, учил, в том числе и совершенно неожиданным вещам. Это - единственная вещь, прожившая со мною рядом всю мою жизнь, не надоевшая, не потерявшая своей всегдашней абсолютной, даже какой-то сакральной необходимости для души...

Как раз нынешним летом мамину альбому исполнится 60 лет, он на полтора года старше меня, и, как и я, порядочно обветшал, хотя и сделан был на совесть, этот прочнейший образец социалистической отечественной полиграфии в мощном переплёте из толстого картона с глубоко тиснёной и золочёной надписью:

АЛЬБОМ
5-го ВЫПУСКА ВРАЧЕЙ БАШКИРСКОГО
государственного медицинского института
имени 15-летия В.Л.К.С.М. 1934 - 1939 г.г. Уфа

Любопытно, что выше этой надписи стоял обязательный для того времени эпиграф:

"КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ"
И. СТАЛИН

Сейчас альбом представляет из себя жалкое зрелище и требует ремонта и срочной пересъёмки погибающих фотографий. Но немедленно возникает неожиданный и горький вопрос: а для кого? Да, получается, что не для кого. Нам, прямым первым наследникам, т.е. мне, сестре и брату, альбома "хватит" и в этом состоянии, а больше он никому не нужен.

К сожалению, это довольно обыкновенная история, - через поколение всё предыдущее перестаёт быть насущным, теряются имена, события, и живая память в лучшем случае подменяется лишь некоторым уважением к самому документу, и то, если это уважение наличествует...

Сколько брошенных деревень на Руси, где в покинутых домах вместе с различным хламом остались никому не нужные альбомы, портреты и большие рамы с наборными фотографиями, предмет и примета, характерные именно для русского деревенского быта, эта трогательная привычка к тому, чтобы родное всегда было рядом... Они валяются на полу, дотлевая вслед за теми, единственными, чьей памяти они были верны и кем были бережно и трепетно хранимы...

И дело не в равнодушии поколения "пепси-колы", как спешат некоторые окрестить своих же детей, забывая собственную беспамятливость. Дело в затянувшейся на столетие исторической саморазрушительной бестолочи, обесценившей не только память, но и самоё себя, когда лишь сиюминутное, вещественное и конкретно-зримое становится главной ценностью...

И этот вот альбом вместе со своим ветшанием потихоньку приближается к тому времени, когда всё, хранящееся в нём, станет паноптикумом неведомых и неузнаваемых лиц в глазах тех, кому этот альбом непрошено достанется...

Вот хотя бы одна фотография из маминого альбома, которая уже и сейчас ничего никому не расскажет, кроме меня, знающего не одну её тайну... Хотя, просто, и этнографически она совершенно бесценна: предвоенная Россия, сухие, сильные лица людей, как бы предчувствующих впереди самые страшные годы столетия, которые выпали на долю именно этого поколения.



Тайна этой фотографии в том, что моя мама (она в форме) - молодой военврач ЧУЗА (Чкаловского училища зенитной авиации) была уже беременна мною.

Отец в это время доучивался в Саратове на медвоенфаке, и, когда я появился на свет и был мамой наспех назван Валерием - под Валерия Чкалова, (что было обычным в городе его имени), дал из Саратова телеграмму, чтобы меня назвали Евгением... Мама позже говорила, что это в честь Евгения Васильевича Базарова, врача, любимого персонажа отца, героя тургеневских "Отцов и детей", - честь, надо сказать, весьма сомнительная... Как все "новые" русские, Базаров был, в общем-то малопривлекательной личностью и даже не потому, что потом мы с отращением "проходили" его в школе, а просто от его хамства и самодовольства, черт, в общем-то, всегда неприятных...

Господи, кто в этом мире сможет всё это разглядеть в этой ветхой фотографии, кого она может тронуть едва ли не до слёз?.. После меня - никого на всём белом свете...

Эти чудесные полевые цветы на тумбочке, да, это цветы августовского оренбуржья, моей незабвенной родины, куда я вернусь, вернее меня привезут уже только в пяти-

десятилетия мои родители, вечные военные бродяги, без дома, быта, мебели, едва уцелевшие после двух войн и страшного ашхабадского землетрясения...

Букету на казённой тумбочке 60 лет, он старше меня на полгода, но в нём ещё прекрасно различимы и душистый горошек, и осот, и тысячелистник, оплётённые сплошь степным ковылём...

Ах, мама, мама...

Рядом с ней спокойное, твёрдое, мудрое лицо какой-то женщины. Мама мне что-то когда-то говорила о ней, но я забыл... Может это была фельдшер той медсанчасти, куда прибыла на первую работу и должность молодой военврач? Я уже никогда не узнаю этого, а скоро никто уже не будет знать того, что ещё знаю, и помню, и люблю, и храню, и могу рассказать я.

Нужно сказать, что сам альбом был рассчитан "на возраст", т.е. официальными, выпускными институтскими photographиями были заняты лишь лицевые страницы половины объёма. Всё остальное пространство заполнялось стихийно photographиями разных лет, в том числе и накопленными раньше. Но заведомая принадлежность альбома именно врачу, выпускнику вуза, накладывало определённый отпечаток своеобразного социального статуса, в масштабе которого как бы "отсчитывался" статус других, ранних и поздних персонажей маминого альбома.

Как раз по маминым photographиям видно, как неизмеримо поднялась она из многодетной полунищей семьи железнодорожного рабочего, через какое-то ФЗУ в Актюбинске, где она приобрела странную специальность фототрушера, через трудное полуголодное студенчество в Уфе, - вплоть до военврача какого-то ранга, соответствующего теперешнему капитану, а в годы войны, освобождённая из-за двоих детей на руках (меня и рано умершей сестры) от фронта, - до терапевта районной больницы и

врача в лагере австрийских, по-моему, военнопленных, чтобы стать, наконец, просто не работающей женой полковника в отставке, бывшего начсанарма Группы войск в Германии, - и богатой домовладелицей в г. Бузулуке, да, там, именно там, откуда она когда-то девочкой, буквально в одном платье, вместе с младшим братишкой и приёмной (с улицы) бабушкой была выдворена из дома злой мачехой - вон, в люди, на попечение более родной им тётки в Ак-тюбинске, как раз в то злополучное ФЗУ...

Круг маминой жизни под конец замкнулся именно на родине, она, бессознательно но целеустремлённо шла точно по этому кругу, и должна была завершить его именно так, как и завершила. Золушка вернулась чтобы навсегда простить мачеху, которая долго будет обивать пороги нашего дома, вплоть до того момента, когда мама, тяжело заболев, опять станет не нужна... Мама оденет-обует и сводных сестёр по мачехе, которые так и остались малограмотными сонными провинциалками...

История, кстати, вовсе не сказочная, именно так чаще и бывает в жизни. И этот совершенно реальный сюжет, в духе какого-нибудь бразильского сериала, только с русским колоритом, в полной мере запечатлел мамин альбом...

А эта фотография из той же оренбургской серии. Мама и "фельдшер" уже в белых халатах, - они имитируют некую как бы работу, вернее, рабочий ритуал, что вполне резонно для тех лет, когда и само фотодействие было сложным, почти театральным обрядом.

Белые халаты, строгая
казённая обстановка,
тумбочка, железная



кровать, медицинский шкафчик на стене... Да, это медсанчасть ЧУЗА¹, здание которого, как мне сообщили, сохранилось в целости и сохранности, и при желании можно даже вычислить и отыскать это помещенис, на секунду воссоединясь с далёким прошлым, со своими предыстоками в прямом смысле этого слова...

На кровати лежит футляр от "Фотокора", превосходного кассетного аппарата, хорошо мне знакомого, т.к. мама через одиннадцать лет на моё десятилетие купит мне точно такой же... Она ведь фоторетушёр по первой специальности... Господи, я помню даже запах этого аппарата, помню чудо перевёрнутого изображения на матовом стекле и прекрасный, ни с чем не сравнимый двойной хруст спускаемого через тросик затвора...

А там на заднем плане хорошо различима и т.н. "голландка", кирпичная круглая печь в железном коробе, покрытом чёрным "кузбаслаком". Две таких печи мама вздвигнет позже, гораздо позже, уже на исходе нашей семейной одиссеи, в нашем большом доме в Бузулуке, окружённом огромным вишнёвым садом, который цвёл каждую весну так, как будто он цвёл в последний раз, вдохновенно и самозабвенно, *словно белый рассвет...*

"*Словно белый рассвет*" - так я назову одну из своих поэтических книг, вышедших в Москве, где, грустя и тоскуя, я расскажу и о маме, мучительно продираясь, буквально проламываясь сквозь нагромождения пустого и случайного к той чистой и единственной правде жизни, которая одна и имеет право на существование, - чтобы выйти, наконец, -

*Сквозь тропу через сад, где для мальчика вечно возвышен,
Восходил, и горел, и сиял, словно белый рассвет,*

¹ Чкаловское училище зенитной артиллерии.

*Над разбитым крыльцом расцветающих млеющих вишен
Лебединый, святой, целомудренный утренний свет...-*

- да, к родине...

А эта нежная и изящная фотография, сделанная в том ретростиле, о котором ныне уже и забыли, она напоминает о времени несколько более раннем. Это день 25 сентября 1936 года, день рождения мамы, которой исполнилось ровно 20 лет. Она студентка мединститута. Зимой она похоронит своего отца, нашего деда, Ефима Тулина, знаменитого первого



председателя колхоза под оренбургским селом Державино. Он умрёт от перитонита, не дождавшись дочери, по телеграмме рванувшейся к отцу... Свирепая метель, такая же страшная и лютая, как и во времена "Капитанской дочки" задержала её в Бузулуке на несколько дней и она успела только уже на похороны...

Рядом с мамой, полуобняв её за плечи, стоит любимая подруга и соперница - Зиночка Орехова. Их общий соратник Сержик Воздвиженский, первая мамина любовь, на последнем курсе предпочтёт Зиночку, - они поженятся и уедут в Ленинград, чтобы спустя два года погибнуть в голодном осаждённом городе... В альбоме сохранилась фотография этой обречённой пары, которая не ведает о грядущей трагедии... Интересно, остались ли у них дети?..

Кстати, мне всегда казалось, что эта обречённость совершенно отчётливо написана на их лицах...



Но ведь это и на самом деле так?.. На обороте этой карточки почерком Сержика Воздвиженского написано: "На память Фаиньке о старой дружбе. 8\VII 39 г., С. Воздвиженский, г. Уфа, Цюрупы 33, кв. 1"...

А день 25 сентября останется в нашей семье навсегда священным... Вот прошло уже больше четверти века после смерти мамы, но мы всегда в этот день собираемся вместе и будем отмечать его до последнего из нас, троих её детей...

Удивительное время, удивительное поколение, которое, как мне кажется, до конца не понимало своей уникальности, того, что никогда человечество уже не повторит, даже не посмеет повторить то, что они создавали...

И дело не только в той идее мироустройства, которую они проповедовали и которая зло и несправедливо обогана сейчас. Неповторим сам тип человеческий, да, вот эти сухие жестковатые лица, эта простая одежда, эти лёгкие лаконичные причёски, предельная строгость и скупость обстановки, - да и сами эти фотографии и альбомы, которые, как ритуал, уже уходят в прошлое и никогда не повторятся больше...

Сейчас фотографирование не обряд, а рядовое действо, с едва ли не мгновенным и гарантированным результатом, усреднённым и пошловатым в некоторой форсированности цвета и в нарочитой обыкновенности поз и положений...

И эти современные практичные альбомы-кляссеры с карманчиками, - удобно, просто, деловито, но и бездушно:

монотонные каталоги турпоездок, гостей, покупок, дней рождений, свадеб...

И что-то бесповоротно исчезло, какой-то оптический фантом пространства, загадочная и отстранённая сосредоточенность лиц, статуарное достоинство фигур, серебристая пatina времени... Как это получалось у них?..

На оренбургской фотографии мамы, там, где она в форме, на груди слева виден маленький эмалевый значок с парашютом, моя игрушка и забава детства, кажется даже и потерянная мною. Это мамина гордость, и значок и звание парашютистки, которое она заслужила 16-ю прыжками из поднебесья.

Сохранилась и фотография двукрылого самолёта, окружённого курсантами - одна из самых моих любимых фотографий детства, которую я рассматривал бесконечно, разыскивая среди тепло одетых людей маму. Мне кажется, она справа от пилота, заливающего из ведра керосин в топливный бак, - она в пальто и белом берете...

Самолёт обут в лыжи, холодно. На обороте маминой рукой написано: "Зима 1936 г, аэродром, г. Уфа."



А ведь недаром одной из песен этого поколения, песен-символов, была "Если завтра война..." Они вполне предвидели судьбу и как могли готовились к ней... Кстати, буквально перед самым началом войны мама из Оренбурга поедет к мужу, моему отцу, на границу, на Украину, где в городе Первомайске уже 22 июня мы все попадём под беспощадную бомбёжку...



Характерна в связи с этим и последняя фотография маминой оренбургской серии. Сюжет тот же, место тоже. И лишь иной по-

ворот лиц - друг к другу, - ещё сильнее подчёркивает какую-то опалённую угловатость лиц, смуглость и обветренный загар их, словно палящий ветер надвигающейся войны уже тронул их своим пламенем... Или это тоже мне только кажется?

*И всё тот же букет оренбургских цветов предосенних
Дышит ветром степным, знойным солнцем, и далью родной...*

Альбом бесконечен в деталях, по нему одному можно сделать анализ эпохи с некоторыми неожиданными выводами. Если, например, внимательно присмотреться к названиям городов, местностей в надписях на фотографиях альбома, то не трудно обнаружить, что в своей массе это всё огромная, но хорошо выделенная провинция Южного Урала с с географическим центром в Оренбурге. Причём и Челябинск, и Актюбинск, и Уфа, и Уральск с Гурьевым входили в то время в орбиту оренбургского геоцентрического притяжения.

В принципе, персонажи альбома, за малым исключением, никуда далеко не удалялись, и эта хорошо выраженная региональная привязанность, является уверенным признаком того, что этногеографическое значение Оренбуржья в то время, значительно превышало его административный статус. Т.е. Оренбуржье всегда как бы "помнило", что оно - край, а не Чкаловская или Оренбургская область...

Мне кажется, что в связи с последними насиль-

ственными и искусственным изменениями административных и государственных границ, статус Оренбуржья вновь становится прежним, форпостовым, геоцентрически собирательным... Но это - тема отдельного и нелёгкого разговора...

А разглядывая лица людей на фотографиях, нельзя не прийти к выводу, что и человеческий типаж здесь достаточно определён, - это сильно смешанный евроазиатский тип с чертами именно евразийскими. Да, это в своей массе всё русские люди, но своеобразного, вполне определимого, хотя ещё не названного подтипа, переходного к известному русскому подэтносу Сибири - чалдонам. Чаще - это смугловатые, слегка скуластые люди с серыми или карими (чаще) глазами, среднего роста, активные, мобильные, с пластичным, гибким характером, что выработалось исторически, национально уживчивые, терпимые, и вместе с тем привязанные к собственным традициям, устоям...

Интересна в связи с этим ещё одна фотография, видимо, самая ранняя у мамы, и единственная, где запечатлена и её мама, моя бабушка Анна, которая во время голода умрёт от тифа на туркестанской станции Арысь, снятая с ташкентского поезда. В Ташкент, "город хлебный", она ездила, конечно же за хлебом. История вполне по знаменитой эпопее Неверова... На ней - типичная оренбургская семья начала века, где наглядно представлен этнический генезис "усреднённого" оренбуржца с густым "евразийским" фоном...



Здесь - дед Ефим с бабушкой Анной. Мама - впереди с рукой, лежащей на декоративной вазе.

Вообще, в альбоме много и просто не русских лиц, - башкиры, татары, мордва, - это тоже характерная и естественная среда края, где никогда не было никакого национального антагонизма, Впрочем не было и национального хан-

жества: каждый знал, как говорится, "цену" друг другу, и "лишнего" не требовали...

Мама, кстати, после института любила петь башкирские песни, а имя своё, Ефросинья, она заменила в паспорте на Фаина... Для того времени это было обыкновенным... Наш же отец звал маму загадочным именем Факося, происхождение которого покрыто глубокой тайной...

Мамино "главное" имя всплывёт у меня в одном из горьких стихотворений последней книги стихов, где, раздумья над судьбой измученного отечества, выраженные через контекст плача Ярославны, носившей имя Ефросиньи, сольются для меня в совершенно реальном образе, - причём на уровне самого искреннего и глубокого внутреннего восчувствования:

*Русь, Ефросинья, живая роса,
Снова туманны твои небеса.*

*Снова затмило собой вороньё
Светло-тресветлое солнце твоё, -*

*И в нанесённой чужими пыли
Сохнут священные слёзы твои.*

*Что ж ты безгласна, чего ещё ждёшь,
Что ж ты родное к себе не зовёшь?*

*Зегзицей вскрикни, всплесни рукавом, -
Кто-то ведь жив в этом мраке глухом!*

*Или давно - ни тоски, ни души
В этой прокарканной враньей глуши?..*

*Чёрные сны, соколиная кровь,
Русь, Богородица, светлый покров...*

Вот вместе со всем этим поколением уходит, исчезает навсегда и удивительный мир, героический, трагичный, не похожий ни на один прежний и ни на один из тех, которые грядут вслед за ним.

Этот мир исчезает не сам, а попустительством нас же самих, его наследников, спешащих избавиться от этого бесценного наследства, подбиваемых чужой и бесконечно равнодушной волей, чью разрушительную суть мы уже начинаем вполне ощущать.

Всё глуше память, всё меньше свидетелей, а те из них, что ещё помнят и умеют рассказать, говорят лишь самое дурное, мерзкое, - Астафьев, Солженицын, - словно сами не были молоды и молодостью счастливы, словно из плёнок - да сразу в окопную грязь и лагерную скверну...

Но ведь по сути всё было не так, во многом не так, - и этот альбом тому свидетель. Ведь тридцать тысяч "Фото-коров", и столько же "Леек" типа ФЭД, изо дня в день снимавшие на стеклянные и плёночные негативы их

жизнь и быт, в том числе жизнь и быт тех двадцати миллионов, не вернувшихся с войны, - они ведь не вдали! Эти люди были вполне счастливы, по крайней мере, не меньше нас. Они влюблялись, воспитывали детей, занимались любимой работой. Они нормально радовались подаркам жизни, в том числе и больше всего - фотографиям, ибо для них это неожиданное запечатление лиц и фигур ещё не перестало быть неким чудом. И ведь не для себя, вернее не только для себя они запечатлевали всё это? И не для того, чтобы их альбомы, их сборные в рамках фотопанно долетали в заброшенных домах и выбрасывались вон вместе с другим истлевшим хламом...

И десяток этих фотографий из маминого альбома, неожиданно, как осколок голограммы, развернувших целый мир, почти уже неведомый нам, не лишний раз напоминают, что мы имеем ещё одно не учтённое национальное достояние, цена которого - наше общее восчувствование себя в чреде поколений, наше непрерывное проистекание во времени, а значит и наше будущее...

2. Белая птица над тёмной водой... **(дядя Вася)**

Никто в нашей семье уже не помнит живого дядю Васю. Это как раз тот случай, когда именно альбом и только альбом сохранил память о человеке, чья реальная жизнь словно бы проскользнула мимо нас всех, никого не задев, не коснувшись, - так, воздух, дымка, да мамина горькая память о единственном младшем брате, который ушёл на фронт и погиб, так и не пожив толком на этой земле...

И вот уже и мамы нет на белом свете и всё, что осталось от дяди Васи - это несколько фотографий да слабые воспоминания о маминых рассказах о нём...

Родился он в селе Лоховка под Державиным, бывшем оренбургском именье Гавриила Романовича, в 1919 году. После школы закончил какие-то курсы, кажется бухгалтерские, где-то успел поработать.

Весной 1942 г., призванный в армию, был смертельно ранен под станцией Трегубово (Мясной Бор), в нескольких верстах от новгородского имения опять-таки Державина - знаменитой Званки - и 15 мая умер в госпитале в дер. Б. Вязищи, (дер. Папоротно), там же похоронен.

В 60-х годах при укрупнении деревень (массовом, трагическом и ещё до конца не осознанном опустошении России) был перезахоронен в братскую могилу с. Александровка.

Вот и вся судьба...

Дядя Вася был постоянной и неутолимой болью души нашей мамы. Известие о его ранении застало маму в Державино, где она работала в больнице. Высхаты к умирающему брату она не могла, не позволяла военная обстановка (в это время как раз в страшном Мясном бору, в мёрзлых болотах погибали окружённые армии, одна из них - пресловутая армия Власова), двое больных детей на руках (младшая дочка вскоре и умерла от дифтерита) и беспощадная военная трудовая дисциплина...

А после войны отыскать его могилу она не смогла и завещала это сделать нам...

Память о людях бывает беспощадна двояко: иногда полным отсутствием опорных знаков, пунктов памяти, когда абсолютно нечего вспомнить, словно ничего и не было, но что-то томит и мучает, что-то очень важное и не-



сказанное, - а иногда, наоборот, память не справляется с обилием деталей, бестолковых и неотвязных, которые никак не складываются в цельный образ. И начинаешь понимать, что оценочный, определяющий принцип памяти зависит не от количества прожитых лет, событий жизни и ступеней карьеры, - часто и это абсолютно не важно, а от чего-то другого:

*Этих писем пыльные собрания,
Старых фотографий желтизна..
Отчего грустны воспоминанья?
Оттого, что жизнь и впрямь грустна:
Жил, работал, награждён, отмечен,
К пенсии добрался не спеша,
Умер, похоронен, - были речи..
А душа?..*

Как раз, эта короткая 22-летняя жизнь человека, без семьи, без родителей, с какой-то странной не мужской профессией - бухгалтер, вся поместившаяся в одной фразе через тире: жил - умер, оказалась наполненной одним очень важным и незаменимым качеством: душою, духовностью. Дело в том, что он был, видимо, незаурядным художником, хотя нигде никогда не учился, да и этот талант у него обнаружился очень поздно, случайно, и никем не был по-настоящему оценён.

Рисунки дяди Васи я помню с тех пор, как начал помнить себя. Целая галерея их возникала для обозрения, когда мама открывала т.н. красный сундук. (О, эти могучие российские сундуки, неподъёмные лежащие шкафы с замками со звоном, в металлических чеканных обтяжках, с витиеватыми кованными ручками! Культура этого этнографического феномена восходит едва ли не к раннему средневековью, и о сундуках можно написать целое исследование...)

В нашей военно-бродячей семье сундуки были важ-

нейшей и едва ли не единственной не казённой мебелью, и их было два: тот самый красный, или мамин, который был её приданным, и зелёный сундук, на котором я спал. Красный имел отдельный пенал для разной мелочи и как раз он весь изнутри был оклеен рисунками дяди Васи. Мама открывала сундук часто, - в пенале хранились письма дяди Васи, пакетик треугольников, стянутых чёрной резинкой.

Это был целый ритуал - чтение дяди Васиных писем, со вздохами, долгим смотрением в окно и обязательными слезами.

Я в это время рассматривал рисунки на крышке и стенках сундука. Они меня всегда потрясали, - казалось невероятным, чтобы это мог нарисовать простой человек.

Сейчас уже невозможно вспомнить все рисунки, отчётливо помню лишь один: большую светлую птицу, парящую над рекой или озером с тёмной водой, в которой светлым бликом отражалась эта птица...

Не знаю, придавал ли какое-либо значение этому рисунку сам дядя Вася, но мне всегда казалось, что какие-то основы своеобразного художнического видения мира определились во мне благодаря именно этому рисунку, вернее, процессу многократного его рассматривания и осмысливания...

Может быть, всё это лишь кажется, но именно из этого со временем где-то внутри возник словно бы и некий постоянный взлетающий символ, совершенно произвольное следование визуальному модулю полёта, - и до такой степени, что определился и личный термин - "на подвзлёте", обозначающий у меня момент успешной творческой работы, вернее того, что в романтическом обиходе зовут вдохновением...

В любом случае, уже гораздо позже, три или четыре раза во время собственных творческих поисков я отчётливо ощущал, что нахожусь под впечатлением именно этого

символа, вплоть до ясного внутреннего видения и всей этой композиции, и суммы ощущений от неё, накопившихся за годы...

(Знаки, символы жизни, безусловно существуют, это не мистика, - под их сенью мы обитаем всю жизнь, не ведая об этом, или - ведая, если ты художник и привык ценить и беречь такие вещи в собственной душе. Не зря ведь и у людей, весьма далёких от символического осмысливания судьбы, мира, проявляется, хоть на миг, любопытство к своей зодиакальной символике, хотя астрология - это уже полное шарлатанство, жалкий след забытых знаний, давно потерявших свой древний мифостадиальный смысл...).

В детстве я часто разглядывал фотографии дяди Васи, пытаюсь в чертах его лица обнаружить, найти какую-то тайну, определяющую его талант, но ничего не находил,



кроме необычайной печали, даже скорби, витающей на его лице. Эта печаль была уже на ранних фотографиях, усиливаясь, определяясь с возрастом как вообще главная черта его лица, образа, характера...

Сейчас-то я прекрасно понимаю, что это и была *тайна отмеченности*, ибо только предопределённость, т.е. та гармония предчувствия своей судьбы и невозможности противостоять ей и является чертой людей неординарных, каким бы странным это и ни казалось на первый взгляд.

Отмеченность обречённостью...

Мне кажется и мама это знала всегда...

Об этом невозможно не задуматься, глядя на фронтовые фотографии.

На одной из них - два русских солдата - трудармейца, т.е. самые неподготовленные, самые наспех собранные и экипированные залежалым обмундированием ещё времён Гражданской. Эта наивная романтическая тряпочная будёновка на голове одного и пилотка другого, брезентовые сапоги



и старые шинели, опоясанные узкими ремнями... И наспех написанная на круглой картонке надпись: ДАРЮ НА ПАМЯТЬ, прикреплённая к деревянной тумбе для цветов...

Да, это, скорее всего, фотография из тех, обязательно бесплатных, чуть ли не положенных по уставу для почти официального уведомления родных бойца о его статусе и о том, что он ещё жив... И опять это сделано терпеливым и выносливым "фотокором", судя по особой графике изображения и мягкой, плавающей глубине резкости.

Судя по всему - это самые последние фотографии дяди Васи, а та, где он один, самая пожелтевшая и выцветшая, - вообще последняя. И она - самая печальная...

Он всё знал, дядя Вася...

И я всю жизнь смотрю на эту фотографию с постоянной душевной болью, слишком очевидна судьба, очевидна обречённость, безбудущность...

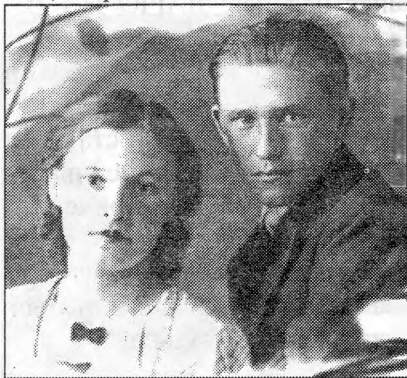
Точно такое же ощущение у меня вызывала ещё только одна фотография, о которой я уже говорил, - фото супругов-однокурсников мамы, погибших в осаждённом Ленинграде... Но там это было не столь ясно выражено, их всё-таки было двое...

И всё же, всё же, всё же, - как писал Твардовский...

Правда, есть одна фотография, бывшая много лет на всеобщем обозрении семьи, с которой дядя Вася смотрит несколько по-иному, как бы из возможного будущего.

Во всяком случае по ней я могу представить дядю Васю и взрослым, и даже вполне немолодым. Это был бы очень интеллигентный, мягкий и добрый человек, и у него обязательно было бы несколько детей, наверное, в большинстве девочки с хорошим музыкальным слухом, а одна бы прекрасно рисовала...

Эту фотографию мама отдала на увеличение, и с неё сделали портрет, который долго висел у нас на стене. Я очень хорошо помню, как во Владимире, куда мы переехали после ашхабадского землетрясения, по домам ходили фотомастера, и, удивительно, даже помню одного из них, коренастого, седого человека. Это, видимо, его почерком на обороте фото-



графией написано "точн. коп." и имя заказчицы - "Тулина Фаина Ефимовна". Классический почерк сильно пьющего человека, похожий на почерк моего отца, только ещё более отрывистый...

Но портрет вышел замечательный и много лет он каким-то образом утишал мамину тихую виноватую боль перед братом. На портрете они были всегда вместе, всегда неразлучны. И не в этом ли тайна прекрасного русского ритуала семейных портретов на стене, чего сейчас как-то стесняются, и не от чёрствости, конечно, но от давления нелепой навязанной чуждой культуры, лишённой тепла, жизни, человечности...

Лицо дяди Васи со временем стало родным и для ме-

ня, словно я постепенно вспоминал, "извлекал" его из той самой ранней своей памяти, и, хотя это, говорят, невозможно, мне кажется, я его вспомнил на самом деле...

А может быть, постоянные мамины рассказы о том, что дядя Вася без конца возился со мной, годовалым, что он научил меня ходить, а потом и произносить первые слова, как бы "овеществились" в сознании и стали словно бы реальностью, - ведь и такое бывает?..

В любом случае, дядя Вася на мне словно бы "моделировал" для себя своё несостоявшееся отцовство, и в тех последних треугольных письмах с фронта без конца спрашивал обо мне... Я остался для него навеки не просто племянником и прототипом сына, но и отчасти его же отражением, как это бывает у тех, кого мы воспитываем, пестуем, любим...

О чём он думал, умирая?..

Желание узнать о дяде Васе что-то ещё, отыскать его могилку, как завещала мама, особенно остро возникло у меня зимой 1995 года.

Я понимал, что расплывчатое сообщение о гибели брата, которое получила мама в 1942 году, и последующие стандартные отписки по поводу запросов об уточнении места захоронения, могли быть вызваны тем, что всё это было связано с местами и временем гибели армии генерала Власова, имя которого совершенно справедливо предавалось анафеме.

Мама, как человек военный, прекрасно это понимала, мало того, все они были воспитаны временем строгим и безжалостным, которое вполне научило их сдержанности, ибо излишнее любопытство было чревато непредсказуемыми последствиями...

Той зимой 1995 года, когда я ненадолго вернулся в Новгород из Москвы, вдруг ударили морозы и Волхов мгновенно застыл серым торосистым льдом, оставив от-

крытой только огромную, никогда не замерзающую полынью напротив Хутынского монастыря, где в приделе Преображенского храма покоится прах Гавриила Романовича Державина...

По преданию, в этом месте на дне Волхова стоят стеной убитые и утопленные новгородцы, казнённые кровавым Иоанном Грозным, потому и сама вода Волхова, словно бы протестуя, никогда не замерзает в этом месте, не смея прикрыть даже льдом приметы лютого и бесчеловечного злодеяния...

Но и страшная эта легенда меркнет перед правдой прошедшей войны. Именно здесь же, в лесах и болотах севернее Хутины, в пресловутом Мясном бору зимой 1942 года погибла 2 ударная армия, брошенная на произвол судьбы. Здесь лежат останки 900000 русских солдат, и только малая часть из них перезахоронена по-человечески, а опознаны вообще только единицы...

А Новгород той зимой 1995 г. начинал готовиться к 50-летию Победы, и чиновники, ещё не очнувшиеся от демократической истерии постыднейшего пятилетия России, стали думать, что бы такое предпринять, чем бы "отметить" это "мероприятие". И придумали. Вот газетное сообщение:

"...Народный союз Германии получил от областной администрации разрешение на восстановление под Новгородом военного кладбища 1-й немецкой авиаполевой дивизии... На южной окраине города возведён пятиметровый четырёхконечный металлический крест, к которому проведено шоссе и построен специальный мост и автостоянка... За это Народный союз Германии дал Новгороду 8 миллионов рублей для благоустройства могилы Героя Советского Союза Якова Павлова..." (газ. "НОВГОРОД", 1995 г., № 40).

Да, это могила того самого легендарного сержанта

Павлова из СТАЛИНГРАДА. Нельзя было не содрогнуться, читая это... Немецкая авиадивизия была полевой, т.е. не фронтовой, а значит, её самолёты "работали" здесь же, т.е. на уничтожение окружённых в Мясном бору армий... Вполне возможно, и дядя Вася был смертельно ранен именно осколками авиафугаса, сброшенного с одного из "хенкелей" этой дивизии...

Я разослал письма по военкоматам и отделениям Книг Памяти...

Исчерпывающие сведения пришли отовсюду, и из Оренбурга тоже, и я наконец-то узнал, где был ранен, где умер, похоронен и перезахоронен дядя Вася, Василий Ефимович Тулин, красноармеец 1247 стрелкового полка 377 стрелковой дивизии... В письме же из Оренбурга, из областной рабочей группы Книги Памяти кроме официальных данных о дяде Васе была и неожиданная горькая приписка:

"Н.М. Пронин, на имя которого Вы написали нам запрос, к нашей большой печали трагически погиб в конце мая прошлого года в результате наезда автомашины..."

И опять тяжёлым, тёмным крылом затмило на миг свет это известие о гибели совсем незнакомого человека, каким-то образом ставшим частью нашей общей беды, пусть косвенно и издалёка... Царство тебе небесное, один из сотен полубезвестных хранителей нашей Всеобщей Народной Памяти, один из строителей великого национального кенотафа с двадцатью миллионами имён...

А уже весной, накануне дня 50-летия Великой Победы в Москве, на торжественном вечере в Центральном доме литераторов, едва справляясь с волнением, я читал:

*Вновь багряной зарёй, словно флаг на рейхстаге,
День Победы встает над притихшей страной.
Поколение измены, сними свои флаги,
Эта пестрядь не к месту в сей Праздник святой.*

*Пусть солдаты единственно правой Победы
По родным площадям в свой последний Парад
Пронесут, как несли сквозь невзгоды и беды,
Тот прославленный стяг, освящённый стократ, -*

*Мимо нас, мимо нас - в золотые преданья,
В седине своей вербной под звон орденов, -
Где сияет вдали Божий Свет воздаянья
Им - за подвиг земной - до скончанья веков.*

*Вот уходят, уходят... Всё глуше и строже
Шаг бессмертья звучит, как последний наказ...
Поколение моё, мы спасёмся, быть может,
Лишь прощеньем отцов, уходящих от нас...*

День победы встанет...

В конце лета мы поехали к дяде Васе.

Был день Преображения Господня, и тишина в небесах стояла несказанная.

Братская могила в селе Александровском оказалась без фамилии дяди Васи. Трудно сказать, как делались перезахоронения всех этих бесчисленных могил в те лихие хрущёвские годы "укрупнения" хозяйств, когда огромное число веками обживаемых русских деревень вдруг стали для кого-то "неперспективными".

Вместе с деревнями "укрупняли" и переносили и братские захоронения, случай, наверное, уникальный в истории человечества. Переносили, конечно, тоже наспех, казённо, фиктивно, - и ничего уже не поймёшь сейчас, не докажешь...

Но эта проблема оказалась не проблемой там, в этой тихой русской лесной стороне, с большим заброшенным полем на краю деревни, где густой еловый островок прятал братские захоронения с простым памятником и длинным перечнем имён на плите.

В сельсовете немедленно нашли документы, присланные из облвоенкомата на дядю Васю, пообещав, что обязательно дополнят намогильный список, - а в деревне нам нарвали цветов на могилу, о чём мы, выезжая из города, и озабоченные лишь одной проблемой - найти дядю Васю, - совершенно забыли...

Мы набрали в пакеты сухой, комковатой, глинистой, красной русской земли новгородской, чтобы отвезти её на родину, нашу и дяди Васину, чтобы отдать её чёрной, вязкой, густой, тоже русской земле оренбургской - земле могилы мамы нашей...

И преображенная тишина стояла весь день над нами...

*Преображаясь, сдвигаясь, меняясь,
Утренний свет возникает во мгле...
Дни золотые неведомых таинств,
Что ж так бессветно у нас на земле?*

*Что же не впрок ни вчера, ни сегодня
Правда небес, что скупа и проста:
Свято - лишь Преображенье Господне,
Преображенья людские - тщета.*

*Тщетны сомненья, смятенья, побрянья
Вечных устоев, священных основ, -
Преображение - это слиянье,
Перетеканье под Божий Покров...*

*Солнечным золотом свод опоясан,
И вызревает высокой зарёй
Светознаменное яблоко Спаса -
Плод занебесный над грешной землёй.*

3. Метель

Старые семейные фотоальбомы, такие, казалось бы, знакомые и изученные, открывают порой совершенно неожиданные черты былого, обобщая и уточняя его не только подробным рассматриванием, но порою и просто механическим перемещением самих фотографий с места на место.

Есть у меня две фотографии отца и мамы, где они сняты в разное время и как-то никогда не сопоставлялись друг с другом. Наклеенные в разных местах, они желтели, коробились, выцветали и порознь представляли из себя то, что называют единичным визуальным моментом с тем необязательным содержанием сиюминутности, которое присуще любительским неумелым снимкам.

И лишь случайно, когда я начал упорядочивать свои архивы, эти фотографии вдруг легли рядом и вместе, многократно и беспощадно отяготив друг друга, - два беспристрастных и непридуманых свидетельства одной большой человеческой драмы, ставшей, в общем-то, главной сутью двух бесконечно мучительных судеб...

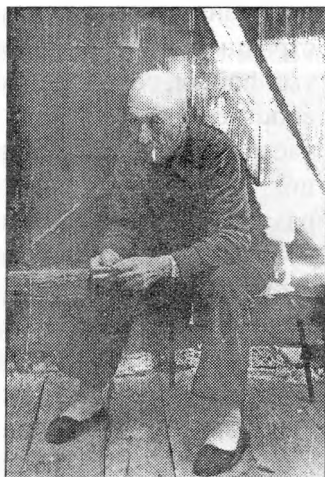


Одна из таких фотографий - это предпоследний мамин снимок, сделанный мною же в 1967 году в Бузулуке. Вот так мама 11 лет и пролежала, скованная параличом, слепая, давно брошенная мужем, то

есть нашим отцом, который, хотя и нашёл себе пристанище и какое-то подобие семьи, всё же не обрёл покоя и душевного отдохновения.

Последние годы, как нам рассказывали, он жил, тяжело страдая от неизлечимого русского недуга, называемого ностальгией по прошлому, а попросту – тоской собачьей, которая преодолевалась тоже сугубо по-русски - тяжкими запоями...

И этот снимок отца, одиноко сидящего где-то в сених и смотрящего исподлобья куда-то в пустоту своего одиночества, - не менее беспощаден, чем фотография мамы, беспощаден и к нему самому, и к нам, его детям, ко мне, так никогда и не сумевшему до конца понять, какая неведомая сила раскидала этих бесконечно дорогих мне людей, развела их не просто друг от друга, а от предназначенной им жизни самой...



Если приглядеться внимательнее, то можно заметить, что на снимке отец сидит у почтового ящика. Это тоже не случайно: за многие годы разлуки с семьёй последней его надеждой и утешением оставались наши письма, т.е. письма его детей, постоянное ожидание которых за много лет превратилось у отца в неистребимую привычку перекуривать именно у почтового ящика, в котором может вдруг забелеть долгожданный конверт.

Эти два снимка, соединённые вместе, вдруг рассказали мне больше, чем могли бы рассказать десятки других свидетельств, и не только правду реальной жизни, но и правду иную, вышнюю, которая казнит или милует вне зависимости от желаний кого бы то ни было...

Я не смею судить отца, родители детям неподсудны. И мне одинаково жаль их, и маму, и отца, равно родных, дорогих, единственных, наказавших себя за что-то прихо-

тью жестокой судьбы, порождённой, наверное, тяжелейшим временем и избыточной силой нелёгких русских характеров.

(Вообще, чем больше сопоставляешь судьбы поколений, тем больше убеждаешься в том, что именно этому поколению, рождённому в начале века, выпало самое страшное, что может вообще случиться с людьми: две лютых войны, голод, репрессии, вечный гнёт надзора, вечное собственное молчание и огромный непрерывный труд, часто совершенно неблагодарный, полупринудительный, а под конец - полузабвенье странюю, которую в очередной раз перевернули и обворовали, в общем-то, исторически всё те же пройдохи и негодяи... Оттого и так много среди этого поколения людей неожиданных, с нелёгкими характерами и непредсказуемыми судьбами...)

Однако альбом, хотя и беспристрастен, но не столь однозначен. В конце концов жизнь замечательна тем, что в любую эпоху люди внутренне остаются всё теми же, они несут в себе любовь и страстное желание счастья, которое воплощают средствами своего времени, вовсе даже и не чувствуя какой-либо ущербности. Это - их жизнь, их обряды, иных они не знали и были вполне счастливыми, когда приходило время влюбляться и любить.



Есть в альбоме две фотографии одного года - 1939. Как раз тогда они и познакомились, два красивых интеллигентных студента-медика, Василий Курдаков и Фаина (Ефросинья) Тулина.



Это было в Уфе, оставшейся в памяти мамы самым радостным городом на свете. И даже первый фильм, который они посмотрели вместе, - "Свинарка и пастух" - казался

маме в воспоминаниях цветным. Песню же о Москве из этого фильма мама напевала всю жизнь, переделывая припев:

*Друга я никогда не забуду,
Если с ним подружилась в Уфе...*

Одна из фотографий запечатлела "молодую советскую семью", как говорили тогда, - семью без дома, без мебели и вещей, где на маме едва ли не единственное платье, а на отце - и на самом деле единственные на все его студенческие годы полуботинки...

Оба они на фотографии несколько грустные, это оттого, что они сразу после свадьбы должны будут разъехаться - отец доучиваться в Саратове на медвоенфаке, мама - в Ленинград.

Встретятся они уже военврачами в Оренбурге и начнут скитальческую военную жизнь по гарнизонам державы - вплоть до самой войны, которая вновь их разлучит на четыре самых трудных и страшных для обоих года...

Итак, 39 год, Уфа, и отец и мама уже вполне такие, каких я знал всегда: мама - порывистая, яркая, любящая и незабываемая во всём, отец - недоверчивый, пронзительно умный и как-то весь и навсегда утомлённый этой несуразной жизнью... Через год и я появлюсь на свет в городе Оренбурге, где мама работала военврачем ЧУЗА, а ещё через год начнётся война, которая накроет нас первой утренней бомбёжкой 22 июня - уже в Первомайске на Буте.



Мама, беременная моей сестрой, вынуждена будет эвакуироваться на родину, под Бузулук, в Державино, а отец до конца войны будет в действующей армии.



Военные фотографии тех лет удивительно точно доносят тревожную собранность мамы и смертельную печаль отца, которому так и не удалось по-настоящему



вкусить ни отцовства, ни радости обретения крыши над головой, ни всего того, что должен испытать молодой мужчина, отец и муж.

Есть ещё две характерных фотографии военных лет, на одной изображён я, на другой наша приёмная бабушка Домна, моя терпеливая и бесконечно добрая няня, буквально выпестовывшая меня во время войны. Она держала козу, чтобы у меня было молоко, и семейство кроликов для пуха, из которого мама вязала разные тёплые вещи.

Ах, бабушка Домна! Подобранная где-то в Бузулуке в голодные 20-е годы моим тогда ещё молодым дедом Ефи-



мом Тулиным, чтобы нянчить его многочисленных детей (родных и сводных братьев и сестёр мамы), она так и осталась в семье, перейдя "по наследству" в няньки ко мне и моей первой сестрёнке, умершей в младенчестве. Бабушка Домна была для нас всех настолько родным, своим человеком, что я даже и не догадывался, что она приёмная нам. Потому-то и не знаю до сих

пор ни фамилии её, ни того, откуда она родом и кто по национальности (на фотографии видно, что она не русская). И самое удивительное, её явно азиатские (или, как говорила моя мама, калмыцкие) черты лица всегда мне казались совершенно родными, я и до сих пор питаю к подобным чертам ну если не родственность, то полную приязнь и понимание...

А эта фотография улыбающегося, застенчивого четырёхлетнего мальчугана, то есть меня, отправленная мамой на фронт, пропутешествовала в нагрудном кармане отцовской гимнастёрки через Прибалтику, Восточную Пруссию и Померанию, где отец закончил войну.

Любопытно, что я хорошо помню не только сам момент фотографирования, но даже запах травы, и ощущение скользкой шелковистости галстука на шее, который был повязан на меня, кажется, первый и последний раз в жизни. Дело в том, что детские фотографии тех лет в основном были обрядовыми и имели один сакральный смысл: они отправлялись на фронт воюющим отцам, для которых снимки их детей и олицетворяли справедливую святость их ратного труда, они как бы благословляли и подвигали на возвращение, а значит, каким-то образом и сберегали их. И это был ещё и словно отчёт матери: не тревожься о нас, мы живы, здоровы и бесконечно озабочены только одним: твоим возвращением...

Помню я и возвращение отца с фронта, незабываемый праздник явления в дом мужчины, удивительные запахи



военной формы, табака, кожаной портупеи. Бесконечно счастливая мама стала неузнаваема, я её никогда такой не видел... О, это лето 45 года! Никогда не было и больше не будет на Руси такого великого праздника, такого высокого и светлого неба!..

Однако возвращение отца очень скоро оказалось вовсе не праздничным. Нашу семью постигла та драма, которая хорошо знакома всем послевоенным русским семьям: солдаты, вернувшиеся живыми с войны, продолжали воевать, вернее, они продолжали и дальше жить по окопным законам, когда важнее всего была проистекающая минута, ведь следующей могло и не быть. Далеко не все из них смогли сразу перестроиться, спивались, причём очень быстро, и гибли уже в мирной жизни. Они не могли быть просто домашними и семейными мужиками, не понимали этого. По ночам они ходили в атаки, а днём падали наземь у пивных ларьков, без конца дебоширили и разгоняли родных и любимых, едва их дождавшихся жен и детей...

Кстати, это - одна из необозначенных национальных трагедий, которую совершенно "прозевали" писатели,² но народ хорошо помнит: миллионы солдат, вернувшихся с войны, были так исковерканы ею, что почти не могли уже жить нормальной жизнью.

² Господи, а что вообще успели и сумели запечатлеть наши писатели, эти покорные слуги какого-то неведомого соцреализма, опустынившего на целое столетие великую отечественную литературу?.. О фронтовой патологии, переносимой в мирную жизнь, мы узнали только где-то в середине 60-х из романов неожиданно изданного у нас Э.М. Ремарка "На Западном фронте без перемен", "Время жить и время умирать". "Три товарища", "Триумфальная арка". Это были страшные романы, как близнецы, похожие друг на друга, поражающие своей узнаваемостью..."Самое страшное в мире - это пустой стакан", - эта фраза Ремарка, произнесённая одним из героев его романа, в общем-то, исчерпывающе определяет и внутреннее состояние наших русских послевоенных фронтовиков.

Что-то случилось с ними там, в окопах, под пулями. Какой-то непоправимый надлом, вернее, переоценка всех ценностей мира, когда сиюминутная жизнь и была жизнью, а всего остального не существовало, ибо никто не знал, когда это всё оборвётся. Война продолжалась на Руси ещё десятилетие, но скрытно и почти незаметно, в семьях, а главной жертвой её были мы - дети...

Наша семейная драма усугублялась ещё и военной бездомностью, мы никогда не имели уверенной и постоянной крыши над головой, мебели, все нас окружающие предметы были казёнными, а словарь проживания исчерпывался понятиями: паёк, подъёмные, квартирные...

Мало того, едва мы стали обретать что-то наподобие дома и вещей быта, и появился, как говорят, вкус к семейному устройству, теплу и уюту, как и это неожиданно и жестоко было разрушено, и мы вновь, вся семья наша, к которой добавилась ещё и маленькая сестрёнка, оказались буквально на улице в одном нижнем белье. Это было в Ашхабаде 5 октября 1948 года, когда мы попали под самое страшное на человеческой памяти землетрясение и спаслись только чудом.

Повествует об этом одна из неприметных фотографий в глубине альбома, внешне ничем не примечательная, кроме разве того, что фигура в центре зацарапана до неузнаваемости.



Между тем, это вопиющий документ и нашей семейной драмы (в приступе ревности, возможно, и беспричинной, зачёркнута мамой воспитательница детсадовской

группы, в которую я ходил), и одновременно документ страшной и общей трагедии: все дети, включая двух нянь и двух воспитательниц, запечатленных этой фотографией, погибли во время землетрясения (кроме двух мальчиков: меня и ещё одного, как рассказывала потом мама). На этой фотографии я крайний справа в третьем ряду.

Эта трагедия, оставившая нас всех буквально в нижнем белье, кажется, навсегда отбила у отца охоту и желание заниматься бытом, домом, семьёй. Его жизненная инициация (посвящение) в мужа, отца, хозяина окончательно не состоялась, он так и остался до конца дней своих как бы в затянувшейся командировке в эту жизнь, где всё зыбко, эфемерно, случайно, и где только для приличия надо было заниматься непривычным для него делом: что-то покупать, строить, обустраивать, обживать, копить и беречь. Всё шло, как говорила мама, прахом, нашим домом для нас были мы сами, семья, а вещи словно бы не существовали. От этой культивируемой семейной системы у меня и до сих пор осталось довольно равнодушное отношение к вещам, т.н. бараклу, лёгкая клаустрофобия, т.е. боязнь закрытых пространств, и чрезвычайно серьёзное отношение к настроению и самочувствию окружающих людей, что приводило и приводит к различного рода недоразумениям... Но это уже разговор иного плана...

Есть ещё одна фотография самого конца 40-х, крымская, курортная. Отец и мать впервые в жизни в решили отдохнуть в каком-то военном санатории.



Это фото замечательно тем, что и отец и мать словно бы смущены непривычным для них делом - отдыхом.

Я люблю эту фотографию ещё потому, что

здесь проскакивает намёк на то, чем могла бы быть наша семья, намёк на некую возможную близость душ и характеров, на ещё возможное семейное счастье, которому, в общем-то, не суждено было состояться...

Однако мама не уставала в битве за дом, за собственное гнездо, которого она никогда допрежь не имела. Правда, всё это стало возможным лишь тогда, когда на зрела наконец отставка отца и пора было где-то укорениться. Начались поиски места проживания. Собственно, перед нами лежала огромная страна и заслуги родителей позволяли им выбрать практически любое место для проживания, включая и обе столицы. Я помню серьёзное обсуждение Ленинграда как места возможного нашего дальнейшего проживания. Но, в принципе, выбор был сделан мамой давно и окончательно, она не мыслила жизни нигде, кроме родины, и мы поселились в Бузулуке, где мама стала строить дом.

Сохранилась удивительная фотография строящегося дома. И любопытен на ней не брусовый сруб, а большие предосенние подсолнухи, растущие вдоль тропы огорода. Это была первая в жизни посадка мамы, о которой она мечтала годами. И вот свершилось чудо, из закопанных весной семечек, без всяких хлопот и полива, к осени вдруг вымахали огромные растения с большими яркожёлтыми корзинами. Это потрясало не только маму, но, кажется вначале и отца. Впрочем, не надолго...





Одна из любительских фотографий начала 60-х успела запечатлеть двух радостных новоиспеченных домохозяев на фоне вишневого сада и огорода, и, казалось, что семье уготован заслуженный хэппи энд... Тем более, постройка дома завершилась последней маминой мечтой - бе-

лыми наличниками вокруг окон.

Помню, мы обходили десятки домов в Бузулуке, срисовывая понравившиеся наличники, а потом выбрали самый красивый, по маминому разумению, который мама ещё и слегка подправила, и у неё появился тот вариант, который она и воплотила в жизнь, короновав все шесть окон дома. Белые наличники на фоне голубых стен выглядели и впрямь сказочными.



Но эта эйфория оказалась преждевременной. И дело было даже не столько в тех или иных трудностях, связанных с резким изменением жизни, с переходом её из казённого, а значит, и достаточно обеспеченного состояния в автономное, где нужно было уже полностью рассчитывать только на себя, т.е. становиться русским провинциальным обывателем. Дело было ещё и в том, что даже мама, всю жизнь, казалось, мечтавшая о собственном доме и саде, была внутренне, т.е. духовно, была не готова ко всему этому, - ведь русским обывателем надо родиться.³

³ Здесь сразу хочется определиться: в понятие *русский обыватель* я ни в коем случае не вкладываю отрицательный или паричательный смысл, как раз наоборот. Это социальное свойство чрезвычайно ценно своей великолепной приспособленностью к нашей бесчеловечной и жестокой жизни. Мало того, своей терпеливой живучестью, стойкостью и умением сохранить не только способы и средства выживания, но и достаточную долю своего человеческого достоинства, русский обыватель заслуживает самой высокой похвалы.

Ну, а об отце и говорить не приходится. И естественная обструкция соседей, т.н. небезызвестный русский террор среды, и неожиданная необходимость добывания, в буквальном смысле слова, всего необходимого для жизни, начиная с топлива, керосина, колодезной воды, которую надо, оказывается, ежедневно черпать и носить из колодца, и кончая огромным неподъёмным и капризным вишнёвым садом, урожай которого было порою просто некуда девать, (нужно было учиться ещё и торговать), и уж совершенно неведомого огорода, т.е. всего того, без чего в русской провинции не прожить, - всё это оказалось внутренне чужеродным для совершенно неподготовленных людей. Отец через год затосковал и начал всё время куда-то уезжать. Его отъезды учащались и удлинялись, между родителями что-то происходило, неведомое нам, детям, пока я не ушёл в армию.

А из армии я вернулся в опустошенный полунищий дом с прикованной к постели мамой и с неизвестно где обитающим отцом.

Жизнь надо было начинать с самого начала.

На этом, собственно, и кончается история семейной жизни отца и матери, резко и по-новому высвеченная двумя неожиданно встретившимися фотографиями, и начинается другая история, печальная, но возвышенная новелла об автономном плавании среди довольно-таки жестокого обывательского моря маленького Ковчега Четырёх, троих детей с больной матерью в доме с вишнёвым садом, который каждую весну расцветал и цвёл так буйно и ярко, словно бы всякий раз как в последний...

Медленно угасла и умерла мама, похороненная нами в Бузулуке.

Потом похоронили и отца...



Две самых последних фотографии отца и матери точно и верно запечатлели самую суть их последних дней, где мучительно – тоскливый взгляд отца в полной мере передаёт всё безнадежное одиночество его дней, а слепой взгляд нашей парализованной мамы, рядом с которой уже и сидит первая её внучка, полон какой-то необычайной силы и веры в то, что жизнь

прожита не напрасно...

Так они ушли из этой жизни, наши дорогие и единственные, - разделённые при жизни неведомой силой, чтобы, наконец, воссоединиться навсегда, там, где, говорят, нет ни ссор, ни обид, нет ни брошенных, ни покинутых, ни изгнанных, ни возвращённых, нет больных и нет здоровых, нет несчастных, хотя нет и счастливых...



Шли годы, за летними суховеями налетали тяжёлые зимы, заметая под окна голубой наш дом с белоснежными мамиными наличниками, подвывала метель за ставнями, беспощадный буран оренбургский.

И там, в кружащейся ночной повители над заметённой снегами землёй всё мерещились мне какие-то тени, и мнилось мне, что я знаю, кто это там, потому что, если бы мы это не знали, то нас самих никто и никогда бы не вспомнил потом, в этой и иной жизни...

*То ли ветер свистал в исступленье,
То ли память металась тоской, -
Но кружились какие-то тени
В эту снежную ночь надо мной.*

*Они зыбко плыли в полусвете,
В полумгле, застилающей сад.
И ночная дорога и ветер
Истекали, как время, назад.*

*И казалось, в круженье метели
То не снег трепетал без конца,
Это матери тень повительно
Завивалась по тени отца.*

*И сплетались не струи глухие,
Это там, в запредельной судьбе
Наконец-то сошлись, дорогие,
И чем дальше, тем ближе себе.*

*Рыхлым вихрем крупным, подорожным
Смертной вьюге свести удаюсь
Всё, казавшееся невозможным,
Даже жизни, прожитые врозь.*

*Разметённые прежде по свету,
Вот сошлись, и навек, и в одно, -
И судьбу запоздалую эту
Ни постичь, ни понять не дано.*

*Не постичь забытья отдалений,
Где в любой наступающий час
Мы живей и добрее, чем тени,
Если тени счастливее нас.*

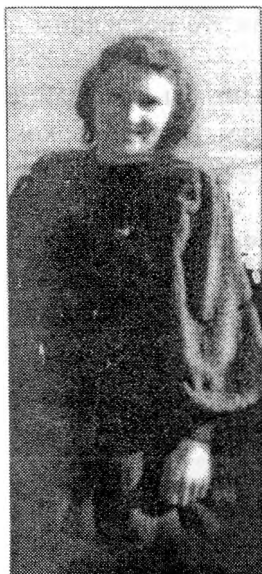
Это старое стихотворение, написанное однажды тяжелой зимней ночью, я никогда не переделывал и не исправлял, хотя сам не вполне понимал его. Да, поэзия мудрее нас, она порою намного опережает даже и опыт жизни. И я многие годы никому не мог толком объяснить, что же это такое - *стать живей и добрее теней воспоминаний*, если поместить их в иное пространство души и памяти, *светлей и счастливее* нашего...

Однако позже, и именно за рассматриванием семейного альбома, я понял не только своё раннее стихотворение, но и многое другое.

Есть древнее выражение *de mortuis aut bene, aut nihil* - "о мёртвых лишь хорошее, или ничего". Эта мудрость намного мудрее, чем кажется. Она хранит в себе духовную самоспасительную суть, ибо предупреждает о качестве, если так можно выразиться, будущей памяти и о себе, или, не дай Бог, беспамятстве... И когда становится особенно тоскливо, я думаю, что, конечно же, не может быть на этой земле вечной и заведомой обречённости, не для этого жизнь дана, и не для этого нужно теребить и перебирать дни прожитые, и листать альбомы, едва не плача от бессилия перед бытиём. Была, была и радость, и счастье истинное, порою и тогда, когда совсем и не думалось, что вот это твоё мгновение и есть счастье. И оно, кстати, и должно быть таким, неузнаваемым при жизни, оно только в мимолётности и бывает, на секунду, под вздох и улыбку, синим ветром, лучом золотым, тенью лёгкой, скользящей... Вот как на этих совершенно случайных фотографиях.

Здесь мама на Чёрном море в Гурзуфе, в кофейном крепдешиновом платье, чей легчайший шелест и запах я помню до сих пор. Она привезла мне со своего счастливого моря красивую гальку и обкатанные

бутылочные стёкла, изумрудно прозрачные, похожие на драгоценные камни из какой-то сказки.



Она тогда была счастлива, отдохнувшая, вдосталь надышавшаяся морем и солнцем, ещё вполне молодая, сильная, красивая, врач, жена полковника, мать троих детей...

А на другой карточке .. отец, которого мы навестили там, где он жил последние годы. Был ясный июльский день, мы ходили в недалёкий бор за земляникой. Густой лес - черничник, заросший папоротником и костяникой, был чист и тих, а отец добр, светел и без конца улыбался.

Это было уже лет через десять после смерти мамы, отцу было семьдесят, и он знал какую-то тайну из будущего небытия, и как умел радовался нашему приезду...

*Взгляни на холм высокий,
На крест мой одинокий,
Пролей слезу хрустальную
Про жизнь мою печальную.*

Это четверостишие я нашёл в блокноте отца уже после его смерти, - наивные и сентиментальные строчки из тех расхожих народно-альбомных стихов, которые порой записывают как свои, что, собственно, совершенно не имеет значения, ведь это стихи



народные, а значит, для всех и ничьи... Но они меня поразили просто уже тем, что отец, насколько я знал, глубоко презирал любую поэзию, считая это последним и пустяшным занятием.

Чужими словами он записал словно бы завещание души, обращаясь, конечно же к нам, к тем, кто ненароком вдруг захочет оценить или понять жизнь его и судьбу... И он словно бы советовал не спешить с выводами, ибо надмогильный "крест одинокий" увенчал не просто могилу, а неподъёмный крест одиночества, предельное наказание человека, страшнее которого не бывает в жизни...

Прощайте, мои дорогие...

**"С ПЕСНЯМИ,
БОРЯСЬ И ПОБЕЖДАЯ..."**

(рассказ)



1852-1853

Разгорается звезда,
 полная тревоги,
Ты не вей, не вей гнезда
 у большой дороги.
У дороги столбовой,
 у дороги тесной
Оглушат тебя чужой
 проходною песней.
Заметут твой след живой
 небылью и былью,
Суетой и маемой,
 придорожной пылью...
Вей гнездо свое вдаль
 от тропы набитой,
Посреди родной земли,
 под речной ракушкой.
Чтобы жаворонок пел
 над стеной пшеницы,
Чтоб, старея, молодец
 у святой криницы, -
Чтобы плакал не чужой
 над твоей могилой
Посреди земли родной,
 под звездой счастливой.

Лето катилось по-азиатски жесткое, палящее. Иногда задувал "афганец", и тогда сутками над военным городком и хлопковыми полями стояла тяжкая раскаленная мгла, не давая дышать. Шел 1962 год...

Художник гарнизонного клуба рядовой Алексей Осинин, который уже считал дни до демобилизации, не вылезал из своей каптерки - расписывал жестяные щиты выдержками из "Строевого устава". Щиты предназначались для нового дивизионного плаца, который сейчас заливали асфальтом стройбатовцы.

Начальник клуба капитан Бреусов, издерганный и вечно чем-то озабоченный человек, иногда вдруг, оборвав очередную свою перебежку из клуба в штаб, зашмыгивал в каптерку Осинина. Он подозрительно оглядывал углы и стеллажи, а потом, замерев перед готовым щитом, вычитывал текст в поисках ошибок.

- Осинин! Ты что здесь нахимичил? "Отдавание чести командиру..." Что за отдавание? Отдание...

- Никак нет, товарищ капитан, вот "Строевой устав"...

- Черт их, грамотеев, - убеждался Бреусов, листая книжечку "Устава", бросал ее на козлы и опять убегал по своим неизвестным делам.

Весь июнь и половину июля из соседних гарнизонов к дивизионному клубу подвозили бюсты Сталина. Их выгружали на заднем дворе, и Осинин, матерясь про себя, бросал работу и перетаскивал тяжелых вождей под дальний навес за своей каптеркой - от глаз подальше. Капитан Бреусов боялся этих свалившихся на его голову Сталиных больше, чем полковников из политотдела, и однажды, не поленившись, привез на бэтээре огромный танковый брезент, чтобы прикрыть растущую свалку алебастровых вождей. Она и впрямь пугала, эта гора голов, топорщащихся усов и широких звезд на генералиссимусских погонах.

Два громадных урюковых дерева, вздымавшихся над каптеркой, беспрерывно роняли перспревшие плоды, и белесый брезент, бугристо пластавшийся вниз, был похож на шкуру жирафа от пятен рыжего абрикосового цвета.

Из гарнизонов под шумок борьбы с культом личности вывозили и прочий хлам наглядной агитации: плакаты с цитатами вождя, портреты и бюсты его соратников, среди которых попадались личности, еще не проштрафившиеся перед непредсказуемой историей.

- Вот сволочи, - злобно шептал капитан Бреусов, обходя алебастровую свалку. - Осинин!!

- Да, товарищ капитан.

- Дзержинских и Кировых отставляй к черту, вот сюда... Они у меня подавятся этими Кировыми... Оголили наглядку... Да прикрой их, Осинин!.. Ну, гады, сами просятся на донесение в политотдел... Так, а это кто такой?

- Каганович, товарищ капитан.

- Как он попал сюда?

- Из железнодорожного батальона, това...

- Мать их... - зашипел взбешенный капитан, - и эти тоже... Что они выкинули его?

- У него затылок проломлен, товарищ капитан.

- Та-ак... А это кто? - капитан перевернул носком сапога бюст и воззрился на него. - Сталин? Что-то худой какой-то... Без погон...

- Это Орджоникидзе, товарищ капитан. Они его, наверное, за молодого Сталина приняли.

- Не помню, не помню... - Бреусов долго рассматривал скульптуру, а потом раздраженно махнул рукой: - Вали его к Сталиным, от греха подальше, ну их к черту... Да прикрой все это брезентом... Та-ак, а это что за кадр?

В углу двора, в проеме от выломанной доски забора торчала мохнатая ушастая голова старой ишачки. Она

приходила с маленьким ишачонком из соседнего аула, прикормленная еще предшественником Осинина, который вместе с каптеркой передал в наследство и заботу о ней. Ишачка моргала длинными седыми ресницами и меланхолически смотрела на брезент, засыпанный разбитым урюком.

- Осинин! Сколько раз говорить - заколоти дыру! Не клуб, а конюшня, твою мать... И не корми ее больше!

Ишачка, уловив обстановку, исчезла, а раздраженный капитан заспешил к воротам, у которых, подогнанный задом, разгружался зеленый запыленный "Урал". Четыре дочерна загорелых пограничника спускали по доскам "Карацупу с Джульбарсом" с прутьями вместо ног: наглядка явно требовала ремонта. И пока Бреусов переругивался с пограничниками, Осинин набрал урюка в таз и выставил его в дыру за забор; он знал, что ишачка еще там...

Ночевал Осинин, как всегда, в родной роте. Вечерами, шугнув салаг, в ленкомнате собирались "старички", объединенные тоской по близкой "гражданке" не меньше, чем тремя годами заканчивающейся службы. Осинин тоже почти стихийно окунался в эту сладкую всеобщую тоску о доме, пел вместе под гитару и слушал бесконечные разговоры о подругах, о будущей свободе, о далеком-далеком, полужабытом, что только вот здесь, в разлуке, и оказалось вдруг единственным и родным до конца.

У всех к дембелю было уже все готово - и новые шапки, и ремни, и слегка отбеленные в хлорке гимнастерки (в этом был особый шик - чтобы гимнастерка была светлее брюк), и сами брюки, ушитые гарнизонным портным чуть ли не в обтяжку, и дембельские чемоданы. Эти чемоданы еще зимой прошли через руки Осинина. Он рисовал на внутренних крышках заказные пейзажи, но чаще - все тот же Кушкинский крест, барханы и цепочку верблюдов, идущих туда куда-то, к закатному солнцу...

Преддебельская лихорадка расхолаживала. И каждое утро Осинин почти насильно заставлял себя работать. "Подход и отход к командиру", - механически писал он короткощетиной кистью на очередном щите, и рука, поднаторевшая за три года, работала почти самостоятельно, и это было плохо. Автоматизм позволял думать о своем, и дни растягивались до бесконечности...

В середине июля к капитану Бреусову заехал майор Киготь, его друг и собутыльник, помначтыла корпуса. Осинин знал, что они издавна вели какие-то свои делишки, и не любил наездов Киготя. После него всегда приходилось что-то грузить в машину, иногда сопровождать ее до корпуса, где-нибудь разгружать и ночевать потом черт-те где. И все это без командировочной, без увольнительной, а там, в областном центре, где был штаб корпуса, ничего не стоило попасть под патруль или дежурного по гарнизону...

Дописывая щит, Осинин краем глаза увидел, как капитан с майором, уже изрядно выпившие, вышли на задний двор и, покуривая, рассматривали алебастровую гору вождей народа. Сквозь оживленную матерщину командиров Осинин пытался понять, что готовит ему очередной приезд майора, но тот сам упредил, окликнув:

- Осинин!

- Так точно, товарищ майор, - Осинин не спеша слез с козел, вытер руки, чуть оправился и пошел к майору. К третьему году уже хорошо обучаешься вот так, не спеша, не суетясь, но и особо не мешкая, без подобострастия, но и без излишней демонстрации достоинства, откликаться на зов командира, и главное, ни в коем случае не смотреть начальству в глаза, как бы присутствуя и отсутствуя одновременно. Ты здесь, но тебя нет...

- Так сколько у нас бюстов здесь? - деловито спросил

майор Киготь. Его пухлое лицо дышало азартом, и было видно, что он опять что-то затеял.

- Бюстов Сталина, товарищ майор, девяносто четыре. Есть еще Киров, три Орджоникидзе, Каганович, два Дзержинских и Калинин. А также одна, я извиняюсь, Крупская...

- Она тоже из гарнизонов? - удивился Киготь.

- Из штрафбата, - буркнул Бреусов, - там малолетка была раньше.

- Есть еще два неопределенных бюста, товарищ майор. Один с длинными усами...

- Горький?

- Никак нет, он лысый.

- Шевченко?

- Не могу знать, товарищ майор... Есть также один с бородой, но не Маркс.

- Энгельс?

- Никак нет, товарищ майор, он тоже лысый. - Осинин знал, что это академик Павлов из медсанбата, но нельзя быть умней начальства, это он тоже хорошо понимал.

- Ну, черт с ним, - нетерпеливо сказать Киготь, - что там еще?

- Еще две группы, товарищ майор, "Карацупа с Джульбарсом" и партизаны.

- Партизаны?

- "Народные мстители", товарищ майор. Мужик с ружьем, баба с гранатой и парень на коленях... Но они без голов.

- Ну, дают, - выругался Киготь, - они что, так без голов и стояли?

- Не знаю, товарищ майор, но изломы закрашены двумя слоями, наверное, так и стояли...

Майор с капитаном, посмотрев друга на друга, как-то

оцепенели сразу. Они мгновенно представили себе последствия какой-нибудь проверки наглядной агитации на местах и чем было бы чревато для них обнаружение на территории гарнизона безголовой скульптурной группы народных мстителей.

- Это все?

- Никак нет, товарищ майор. Есть еще две малых группы "Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство"...

- Какое спасибо? - выпучился майор Киготь.

- Девочка Геля с товарищем Сталиным, - уточнил Бреусов, - из гарнизонного детсада и пионерлагеря... - И, кивнув Осинину, мол, ладно, иди, увел под руку майора к себе в клуб.

До обеда друзья-командиры еще раза два выходили во двор, поднимали брезент и осматривали морально и политически устаревшую наглядку, о чем-то спорили, и Осинин уже твердо знал, что опять ему предстоит какая-то внеуставная работа. Разбивать все это? Закапывать?..

Утро было ясным и тихим. "Афганец", задувавший всю неделю, утомился, наконец, оставив горы урюка на брезенте и крыше каптерки. Гремели катки на плацу, трамбуя асфальт, разноголоса подвывали духовые из казармы музвзвода и издалека время от времени доносились гулкие и тяжелые взрывы: там пробивали Туркменканал.

- Осинин! - окликнул капитан Бреусов. - Ну-ка, зайти!

В кабинете под портретом Хрущева сидел майор Киготь и тяжело смотрел в окно.

"Будто и не уезжал... Ну, точно, что-то затеяли", - с тоской подумал Осинин и доложил о прибытии. Пахло табак и каким-то хорошим спиртным.

- Садись, садись, Осинин, разговор есть... Ты ведь в художественном учился?

- Так точно, со скульптурного забра... то есть призывали, - осторожно присев, ответил Осинин.

- Значит, лепить можешь?

- Так точно, и лепить...

- А из гипса?

- Так точно, из гипса тоже. Гипс для скульптора главный материал.

- Так, так... - Бреусов посмотрел на Киготя, и тот кивнул, разрешая, - ну а Ленина, к примеру, мог бы изобразить?

- Так точно, Ленина - самое простое дело.

- Это почему? - насторожился Бреусов.

- Ленин в трафарете, товарищ майор, здесь не ошибешься... Я его с закрытыми глазами...

- В каком это трафарете?

- Два - три - четыре - семь...

- Это что такое? - спросил в свою очередь Бреусов.

- Пропорции такие, товарищ капитан, давно проверенные: от конца бороды до рта, затем нос - и лыси... темя, то есть. Мы халтурой в училище кормились, я этих Лениных...

- Ладно, - оборвал что-то вдруг решивший Киготь и, хлопнув по столу ладонью, встал. - Значит, так. Возьмешь одного Сталина, бюст, конечно... и попробуй из него сделать Ленина. Не пропадать же добру... Сам знаешь, гарнизоны остались без наглядки, а когда новую пришлют, хрен их знает... Пьедесталы голые стоят, как после революции... это морально-политически, знаешь сам, разлагает... Делай здесь, во дворе. Никому ничего, и чтобы не видел никто! Сделаешь, вот, покажешь капитану... В общем, пробуй...

- Так точно, - Осинин понял, что затеяли командиры, и вздохнул, - мне алебастр нужен.

- С этим - к капитану...

На следующий день два санинструктора притащили

мешок гипса и зачем-то коробку гипсовых бинтов. Осинин наточил стамески, нож, выпросил у сапожников два рашпиля, притащил из столярки наждачку и, закрыв дверь каптерки, вышел на задний двор. Поставив на козлы бюст Сталина, Осинин задумался.

Вождь был исполнен в знаменитом "повороте победителя", с генералиссимусскими звездами, так, как на отцовских орденах, которые он помнил с детства. Ох, узнал бы отец, чем ему тут приходится заниматься!..

Осинин облил Сталина водой, чтоб было поменьше пыли, прочертил углем контуры будущей лысины и, изпод киянки, стал срубать валик волос вождя. Стамеска на третьем ударе неожиданно провалилась в пустоту. Осинин выругался, - конечно, отливки были предельно тонкостенными, тоже халтурили где-то... Пришлось срубать всю верхнюю часть головы по контуру: все равно нужно будет наращивать... Но вот чем этот слой поддержать изнутри? Контрформу делать не хотелось - муторно, долго...

Осинин сходил в каптерку и, порывшись в ящиках, нашел футбольную камеру. Вставив ее в проломанную голову вождя, Осинин стал осторожно надувать ее через рот, время от времени отстраняясь, чтобы рассчитать контуры получающегося свода. Наконец до звона надутая камера выпятилась из разлома на нужную высоту, и Осинин завязал нишпель, заправив его под затылок.

Сталин с иссиня-черным резиновым сводом на голове, похожим на чужеземную каску, был пугающе-страшен, и Осинин не стал медлить. Размешав в чашке гипс, он накидал его на поверхность камеры и по сырому быстро протесал все это ножом, следя за точностью контура. Он еще успел набросать гипс на скулы, дабы "замонголить" лицо, и уже загустевший остаток слил на подбородок. Провозившись еще с подрезкой бороды и со щеками, Осинин

наконец отошел назад и замер, удивившись, в общем-то, предельной простоте переделки одного вождя в другого. Да, перед ним был дорогой Ильич, правда, с несколько тяжеловатым кавказским взглядом. Нужно брови тронуть и глаза "защурить", прикинул Осинин и, закрыв изделие мешком, пошел доложить командиру.

- Ну, что, получилось? - спросил капитан Бреусов.

- Так точно, товарищ капитан.

Бреусов поспешил взглянуть на новоиспеченного вождя, и когда они шли через каптерку во двор, следил, чтобы Осинин закрывал на ключ двери.

- Вот, товарищ капитан, - Осинин, немного помедлив, махом сдернул со скульптуры мешок.

Капитан удивленно воззрился на осининское изделие, и было видно, как выражение недоверчивости постепенно сменялось на лице командира выражением удовлетворенного узнавания. Но вдруг капитан, резко побледнев, закричал:

- Закрывай, живо!

Осинин, ничего не понимая, накинул мешок на Ильича, а капитан, нервно озираясь, просвистел полупшепотом:

- Сдурел! Ленин - в погонах! Генералиссимус!.. Да ты знаешь, что за это могут припаять?! Из дисбата не вылезешь...

- Да я не доделал еще, товарищ капитан, - оправдывался Осинин, - вот, лицо хотел показать, сходство... А китель на пиджак переделать - это в два счета...

- Не успел... Не хрена было звать тогда... Доделывай, быстро! И чтоб ни одна душа... Смотри...

Капитан ушел, и Осинин, вооружившись стамеской и киянкой, быстро срубил погоны, пуговицы и маршальскую звезду. Потом, несколько поразмышляв над тем, был ли Ильич Героем Советского Союза, вспомнил, что нет, срубил и орденские звезды. Сейчас Ленин, оказавшийся

словно бы во френче военного коммунизма, вызвал у Осинина какие-то странные чувства, но он никак не мог связать их, пока не вспомнил, как однажды, когда ему было лет десять, отец водил его в Мавзолей. В Москве они были проездом, и отец повел сына посмотреть на Ильича. У Осинина с тех пор остался в глазах образ хорошо знакомого по книжкам человека, но почему-то лежащего вверх лицом, и одет он был как раз в такой же френч... Или это тогда так показалось?.. И еще он запомнил лицо отца, когда они вышли из Мавзолея... Ох, не дай Бог ему узнать когда-то, чем его сын занимался в армии. Но... приказы командиров не обсуждают, это отец-фронтовик знал не хуже сына...

Осинин вздохнул, снова облил водой фигуру вождя, развел гипс, накидал лацканы, воротник, и двумя шлепками - галстук. Быстро все это выровнял и подрезал, не забыв наметить горошек на галстук и легким резом - кармашек слева.

Бывший Иосиф Виссарионович, а ныне Владимир Ильич мудро и человечно смотрел вдаль, мимо Осинина, сквозь корявые урючины и антенны локаторщиков, туда, где до горизонта тянулись шинельно-зеленые хлопковые поля социалистического Отечества...

Довольно долго провозившись с отдиркой старой краски, шлифовкой, а потом еще пробеливанием, Осинин оттащил Ленина в кабинет Бреусова, ополоснулся из шланга и заглянул в казарму узнать, нет ли почты.

Дневальный протянул ему письмо.

Осинин сразу ушел за артсклады, туда, к старому арыку, где в зарослях тутовника и джиды было у него одно укромное местечко. Он не любил читать письма в казарме или в каптерке, где всегда могли помешать, - для письма ему нужно было одиночество.

Мать писала все то же, что и всегда, что ждут его не дождутся, соскучились, что огород поспевает, к ноябрьским и к его дню рождения огурчиков насолили, о соседях, о дружках закадычных, что уже отслужили и переженились, что Танька-сестренка совсем от рук отбилась... А в конце письма осторожно, словно мимоходом, обмолвилась, что отец все хворает, лег подлечиться пока... И эта шальная мамина скороговорка - и уже во втором письме - взволновала Осинина. Он разулся, подвернул брюки, опустил ноги в арык и задумался.

Отца своего Осинин помнил с пяти лет, когда тот вернулся с фронта. Несколько дней они с матерью ходили встречать эшелоны, которые прибывали всегда вечерами. Отец дал телеграмму еще из Кинеля, а оттуда было ходу ну день, не больше, но эшелона все не было.

От дома до станции верст пять, бабка ругала мать, что она затемно таскает мальчонку в такую даль. Но мама с каким-то сдержанным упорством всякий раз уходила на станцию с сыном, иногда по полдороги неся его на руках... Сейчас-то Осинин знал, что мать не могла иначе, что это был, в общем-то, почти священный обряд тех лет.

Самой встречи он как-то не запомнил. Помнил только, как шли они по темным улицам домой. Мать смеялась и тихонько плакала, а отец, которого он сильно стеснялся, нес большой чемодан, скатку, от него пахло кожей, табаком и чем-то таким, особым, что навсегда осталось в памяти как запах отца, вернувшегося с фронта...

И еще он помнил, что всю дорогу что-то легонько и ритмично позванивало.

Это звенели отцовские медали, две белые - со звездами и две желтые - со Сталиным...

- Осинин! - возник вдруг в кустах вестовой, - вот, я тебя вычислил! Узнал, что ты письмо получил, и сюда

сразу... Давай беги в клуб, твой придурок тебя потерял.

- Что там у него?

- Да этот, жирный, Киготь, что ли, приехал, тебя тревожат.

- Ладно... - Осинин обулся, намочил панаму в арыке и побрел вслед за вестовым.

В кабинете Бреусова сидел все тот же помначтыла Киготь в расстегнутой гимнастерке, а на столе, сейчас в открытую, стояла бутылка коньяка и взрезанная банка бараньей тушенки из сухпайка.

- Садись, Осинин, - с подозрительным гостеприимством, даже стул ногой подвинул, предложил помначтыла.

Бреусов достал из сейфа три стакана и разлил коньяк. На сейфе стоял новенький осининский Ленин.

- Давай, Осинин, не стесняйся, хряпни малость. - Киготь звякнул стаканом. - Дембель скоро?

- Так точно, товарищ майор, пять недель до приказа. Осинин присел, вежливо отхлебнул и стал закусывать.

- Ну, приказ - это еще не дембель, - взглянув на Киготю, сказал Бреусов, - сам знаешь, полтора-два месяца как миленькие отдубасите, а то и больше... А у тебя, Осинин, и сменщика нет. Как мы оголим клуб? Кто наглядку делать будет? А вдруг с этим призывом ни одного оформителя не придет?

Осинин знал, что никто, конечно, дембель не отменит, но, если надо, родные командиры нервы помотать смогут - ого как! - и запросто задержат месяца на три.

- Вот наше предложение. - Бреусов опять взглянул на Киготю, тот кивнул. - Мы тебя демобилизуем сразу, на другой день после приказа.

Осинин встрепнулся, внимательно посмотрел на командиров и внезапно все понял.

- ...но ты должен напоследок выполнить одно, так ска-

зять, боевое задание... Ленин у тебя получился вылитый, как заводской... Хм... Короче, давай так... Если до приказа сделаешь сто штук, вот таких же, из Сталиных этих... Хм... То на другой же день после приказа сделаем тебе дембель.

- Сделаем, - подтвердил Киготь, - все писаря на тебя работать будут... Ну, как?

Но Осинин уже и не раздумывал: письмо матери жгло карман гимнастерки; он встал, привычно оправился:

- Разрешите выполнять задание?

- А сделаешь к сроку? - вдруг, как бы испугавшись такого быстрого согласия, насторожился Бреусов.

- Так точно, к пятому сентября сделаю.

- Откуда ты знаешь, что приказ будет пятого? - спросил было Бреусов, но Киготь оборвал:

- Иди, Осинин, выполняй...

Заканчивался август, а жара, казалось, только набирала силу. Пробушевал еще один недельный "афганец", вкопец иссушив землю, забелели раскрывшимися коробочками хлопковые поля. Взрывы с Туркменканала звучали уже отдаленнее, глуше. Стройбатовцы, укатав асфальт нового плаца, перешли на другие объекты. Но Осинин ничего этого уже не замечал. Третью неделю он почти безвылазно работал на заднем дворе клуба, а в каптерке на стеллаже двумя рядами стояли шестьдесят готовых Лениных, и нужно было их сделать еще ровно сорок штук. Ходил он теперь как маляр, весь в алебастре, с потрескавшимися руками, и давно уже не сидел вечерами за гитарой в ленкомнате, а, поужинав, снова возвращался к верстаку. Уставал он страшно, но если бы ему предложили отдохнуть денек-другой, он ни за что бы не согласился. Каждый новый Ленин сокращал ему день службы, но на всех Лениных времени уже не хватало.

Тогда он решил применить пооперационный метод.

Он водружал на верстак сразу по пять Сталиных, обливал их водой, затем быстро очерчивал контуры лысин. Головы он пробивал теперь топором, им же нагрубо подтесывал края сколов. Потом, вытряхнув осколки, вставлял в каждую голову по футбольной камере, которыми в избытке снабдил его капитан Бреусов, и надувал их.

На третьей камере обычно начинала кружиться голова, и Осинин, давая отдых легким, разводил в это время в резиновом автомобильном ведре порцию алебастрового месива. Потом он накачивал остальные головы, заправлял все ниппели вовнутрь и, быстро орудуя мастерком, наляпывал лысины и, мастерком же, сразу подрезал и заглаживал их. Чтобы не выходить из ритма, он постоянно что-нибудь напевал, и песни вспоминались почему-то именно из "сталинского" репертуара, который он наизусть помнил еще со школы:

*Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин,
То первый маршал в бой нас поведет...*

Но чаще другое:

*Сталин - наша слава боевая.
Сталин - нашей юности полет.
С песнями, борясь и побеждая,
Наш народ за Сталиным идет...*

Однажды, когда он скалывал головы, отлетевший тяжелый осколок алебастра сильно ссадил ему щеку. После этого во время стески голов Осинин стал надевать старый противогаз со срезанным воздухофильтром. Бреусов, заглянув как-то в дверь каптерки, в ужасе тут же захлопнул ее, потому что то, что он увидел, могло свести с ума любую политотдельскую душу, тем более из-под противогаза

трубно, даже утробно неслось:

*Сталин и Мао слушают нас,
Слушают нас, слушают нас!
Москва -Пекин...*

Погоны, звезды и пуговицы Осинин срубал тоже топором, причем наловчился он делать это так, что эмблематика отсекалась целиком, не крошась, и вся земля вокруг верстака белела утоптанной генералиссимусской атрибутикой. Бреусов, который неумоимо и тревожно следил за осининским творчеством, был несколько озадачен этой неожиданной страстью, почти одержимостью доселе тихого, незаметного подчиненного. Он уже почти не делал Осинину замечаний, а однажды сам потихоньку сгреб звезды и пуговицы в ведро и быстренько вынес это все в арык за забором.

- Сталин - это Ленин сегодня, - бормотал Осинин, подрезая гусиную лапку в уголках лукавого прищура новоиспеченного Ильича. Ямки зрачков он с некоторых пор стал дорезать во внутреннюю сторону: Ленин, в отличие от Сталина, чуть косил, и Осинин сожалел, что об этом он догадался не сразу. Половина Лениных так и осталась с не соответствующим Ильичу беспощадно-победительным взором...

Как-то вечером, вывозя на тачке осколки сталинских черепов, Осинин нос к носу столкнулся с майором, - о, Господи! - уже с подполковником Киготем, вылезающим из корпусного "уазика".

- Здравия желаю, товарищ подполковник, - еле разогнувшись, козырнул Осинин.

- Вольно, вольно, Осинин, - благодушно произнес Киготь, польщенный тем, что его новое звание замечено. -

Ну, как успехи?

- Семьдесят штук, товарищ подполковник.

- Так, хорошо... Мы тоже свое обещание помним... Я вон тебе кое-что привез. - Киготь кивнул на шофера, который вытащил из машины коробку и держал ее в ожидании. - Неси в каптерку!.. Это тебе водочки там пара бутылок, ну, и колбаса, консервы на закусон. Побалуйся как-нибудь с ребятами на досуге... Втихаря, конечно... Работу мы твою ценим, она очень нужна... Наглядка сейчас... Новый политический период, - сложное противостояние с отжившим...

Киготь говорил, говорил, важно выгуливая себя перед измученным Осининым, а тот, покачиваясь от усталости, безучастно смотрел на помначтыла, следил за его губами, лицом и автоматически делал из него Ленина. Вот он отсекает ему череп... нет, череп у Киготя низкий, его можно просто нарастить: полведра алебастра... наляпать усы, бородку... а вот щеки, пожалуй, подтесать надо и замонголить скулы... закалмычить даже... так, погоны - к черту... пуговицы - к черту... орденские планки... откуда столько орденов у этих гражданских?..

- ...в общем, работай, Осинин. Родина не забудет... - донеслось до Осинина. Хлопнула дверца, и "уазик", вонюче фыркнув, почти мгновенно исчез за углом клуба.

Осинин, устало вытерев лицо гимнастеркой, вздохнул и толчками покотил к арыку свою тачку.

Но в самом начале сентября что-то неуловимо стало меняться вокруг. Даже вконец заработавшийся Осинин вдруг заметил, что его рота, саперная, кстати, целыми днями пропадала теперь в поле. Шли бесконечные учения. Поступала новая техника. Проходя по утрам мимо мехпарка, Осинин видел, как ребята возятся вокруг новеньких, в масле, миноукладчиков и могучих траншеёкопате-

лей. А старшина Малярчук, фронтовик, дослуживающийся последний год в армии, вдруг приказал Осинину являться на вечернюю поверку:

- Художник - не художник, а ты все же к роте прикреплен, Осинин. Так что, будь добр...

Однажды и Бреусов, посуровевший и мрачный, приказал на день отставить Лениных. Он принес новую простыню без шва и "Огонек" с цветным портретом бородастого Фиделя.

- Давай, делай на всю простыню. Сухой кистью. Чтоб к вечеру готово было... Вечер боевой солидарности с Кубой... Будет генерал из ТуркВО... - И, увидев вопросительный взгляд Осинина, буркнул: - Зачтется...

Осинин натянул простыню на подрамник, перевел через эпидиаскоп Фиделя Кастро и быстро, сепией и сиемой, натер бородастого кубинского вождя на ивановское полотно. Потом, слегка тронув углем тени и подсветлив белилами, поспешил отнести портрет в клуб. С этим барахлом одноразового пользования Осинин особенно не церемонился.

Вечером Осинин тоже сидел в клубе, слушал докладчиков, говорящих о революционной солидарности, происках НАТО и СЕАТО, о готовящейся блокаде острова Свободы, и мысленно делал Ленина из генерала в президиуме. Это стало просто какой-то манией.

Могучий Фидель на заднике сцены смотрел победоносно и уверенно, и Осинин вдруг отчетливо понял то, о чем давно уже шептались "дембеля" в курилках, - что никакого приказа в этом году не будет, и не пришлось бы встречать Новый год где-нибудь в Каире или Тегеране...

Очередное письмо матери было каким-то путаным, нервным. Отец все лежал в больнице, но что с ним, мать не писала. А последняя фраза: "Ждем тебя, дорогой, не

ждемся, ты уж приезжай сразу, не задерживайся после приказа", - была вообще странной. Что-то дома было не так...

Через несколько дней, разворачивая брезент, прикрывающий свалку наглядной агитации, Осинин обнаружил, что она почти иссякла. Но самое неприятное было то, что кончились Сталины. Из чего теперь делать остальное? Что там? Два Дзержинских, три Орджоникидзе, Киров, Каганович... Да, из этой "некондиционки" делать Лениных будет посложнее...

Водрузив Дзержинского на верстак, Осинин сел поодаль на голову Кагановича и, закурив, стал рассматривать "железного Феликса". Да, в общем-то, ничего страшного: отсечь малость бороду, несколько расплющить этот узкий польский нос, опять-таки добавить скул, а голову, пожалуй, и пробивать не надо, залить сверху, заодно и череп расширится. Все-таки хлипкок был "рыцарь революции" по сравнению с Ильичем...

К обеду Осинин легко сделал двух Дзержинско-Лениных. Их физиономии дышали несколько избыточной революционной страстностью, но, в принципе, придраться было не к чему: Ленины как Ленины...

"Поднаторел", - грустно подумал Осинин.

Сзади послышался шум, и, обернувшись, он увидел в расщелине забора знакомую добрую морду ишачки. Рядом, как всегда, топтался заметно выросший ишачонок.

- А, пришла! Давненько что-то вас, мадам, не было... Арбузы небось с бахчей ишачить изволили весь август? Что бы тебе вкусенького дать?

Осинин вынес горбушку хлеба, протянул ишачке и ощутил, как руку приятно тронули ее мохнатые мягкие губы. Над арыком кричали майны, в тутовнике ворковали горлинки, и Осинин остро и до конца почувствовал, как

ему немедленно нужно домой, - пора, пора, не физически даже, а душой...

В эти же дни начали развозить по подразделениям готовую осининскую "продукцию". Он наблюдал иногда, как приехавшие из отдаленных частей солдаты грузили в свои машины одного-двух Лениных, как сопровождающий офицер подписывал у Бреусова разные накладные и товарные квитанции, и в общем-то понимал что к чему. Друзья-командиры на всем этом хорошо нагрели руки и, наверное, на весьма крутленькую сумму... Но Осинину было все равно. Главное, прошло уже и 5 сентября - привычный ежегодный срок приказа об увольнении, потом прошло и 10 сентября и 20...

Приказа не было и в октябре...

А в ноябре вся громадная боевая армада танкового корпуса по сигналу боевой тревоги вдруг, в одну ночь взревела моторами и дизелями, подошла к недалекой границе и до утра закопалась в бункеры и аппарели. Утром на боевом вертолете комкор облетел позиции, стараясь обнаружить нарушения маскировки, но нарушений не было. В те годы в войсках служило еще достаточно фронтовиков-офицеров, они знали свое дело, и армия была во всеоружии.

На следующую ночь подошли ракетчики. Их сильно секретили тогда и близко не подпускали к ним ни своих, ни чужих, однако пехота с восторженной гордостью наблюдала всю ночь движение ракетного каравана, который уходил в горы. И все знали, что на следующее утро уже другой вертолет будет кружиться над позициями.

Наступали томительные дни, которые потом назовут *Карибским кризисом*, дни, когда мир висел на волоске. Увольнения и отпуска были запрещены еще месяц назад, на переписку была наложена военная цензура.

А однажды ночью им выдали полный боекомплект, патроны, гранаты, химкостюмы и сухой паек на пять дней. Секретчики раздали офицерам карты районов будущих боевых действий.

Потянулись часы одной из самых страшных ночей человечества, в своей массе и не подозревавшего об этом.

Рассвет наступил поздно, солнце никак не хотело вставать из-за барханов, а когда, наконец, встало, объявили отбой готовности № 1...

Еще через два часа объявили отбой готовности № 2... А еще через два - и общий отбой...

Старшины собирали боекомплекты, было разрешено снять маскировку. Можно было курить.

И, наконец, к блиндажам и врытым в землю палаткам подвезли почву.

- Осинин! Тебе телеграмма!

Побледневший Осинин, как во сне, взял из рук удивленного ефрейтора-почтаря заклеенный полосками бланк, не глядя сунул его в карман гимнастерки и вышел вон из блиндажа.

Он брел по песку, взбираясь на самый высокий бархан, скрипя зубами и всхлипывая. Песок осыпался под ногами, скатываясь вниз тяжелыми, расширяющимися ручьями, а Осинин, почти падая, царапая руки о верблюжью колючку, все шел и шел вверх.

Наконец на самом гребне он остановился, смертельно устало оглядел бесконечно чужое море песка и хрипло, давясь спазмами, прохрипел беззвучно:

- Отец...

Он не помнил, сколько пролежал на вершине бархана, постепенно успокаиваясь и словно бы окаменевая внутренне.

"Вот тебе, вот тебе за все... - тяжело и беспощадно думал он о себе, - за предательство... за исполнительность... Швейк чертов... за трусость... думал, обойдется... приказали - делай... предавай все... отца... медали его... сталинские, святые... отец, отец..."

- Осинин!

Он вздрогнул, поднял голову, потом, отряхнувшись, тяжело встал.

Внизу под барханом смотрели на него старшина Малярчук, почтарь-ефрейтор и еще двое его закадычных друзей-дембелей.

-Ты что, Осинин? - Малярчук вопросительно вскинул руку. - Телеграмму-то прочитай! А мы поздравить тебя хотели...

Осинин, ничего не понимая, достал из кармана телеграмму и, не веря глазам, прочитал: "дорогой леша поздравляем днем рождения желаем скорейшего окончания службы ждем любим целуем папа мама тая"

Он прочитал еще раз, потом еще.

И вдруг сорвался с бархана, держа высоко над собой листок телеграммы, - и бросился туда, вниз, к друзьям. Он бежал, делая огромные медленные шаги, и громко пел:

*С песнями... борясь... и побеждая...
Наш народ... за Сталиным...*

- Ну, рехнулся, - Малярчук обнял Осинина, и все зашагали туда, где из аппарелей наружу, ревя дизелями, выходил на поверхность невостребованный войною танковый корпус...

Поезд шел к дому. Дембель Осинин, самый счастливый человек на свете, непрерывно смотрел в окно. Скоро пойдут знакомые, потом все более знакомые станции, по-

ка, наконец, не возникнет в окне самая дорогая и единственная под названием *Бузулук*...

И еще он улыбался оттого, что знал - в это время в сталенкомнатах туркестанских гарнизонов приподнимаются и с треском падают на пол могучие алебастровые лысины Ильичей и синевато-черные каски выпучиваются из ломаных отверстий, эти резиновые пузыри возмездия за все его одиночество и тоску подневольного обманного труда.

Нет, это не было его заведомой местью друзьям-командирам.

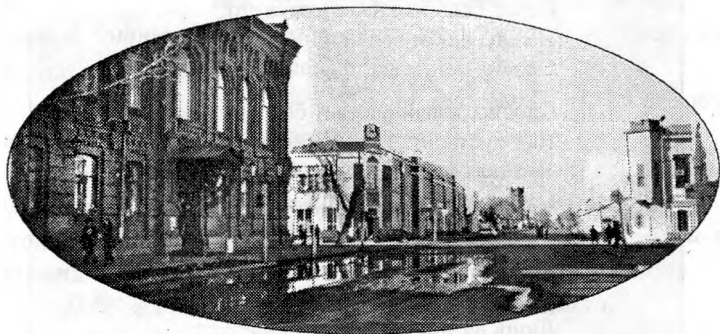
Просто он забыл проткнуть накачанные камеры внутри ленинских голов. Он собирался это сделать, даже приготовил длинную острую спицу...

Да уж слишком быстро стали развозить их по гарнизонам...

Слишком быстро.

"МЫ НЕ ОТ СТАРОСТИ УМРЁМ!..."

(очерк о БОМПе)



*...Ночь и темь, город нем от мороза,
Каждый звук, как испуг, сразу вдруг,
Как далёкий гудок паровоза,
Раздвигающий времени круг.*

Стихи 60-х, г. Бузулук

Может, эти далёкие звуки,
Вдруг сложившись когда-то в размер,
Стали б сном об ином Бузулуке,
Овеваемом музыкой сфер.

Не о том, где мертвело сознание
Без любви, без души и лица,
А о том, что рождало преданье
Нашей молодости - до конца...

В том преданье. далёком. прекрасном,
Город был бы вне сумрака лет,
И сады в нём цвели б не напрасно, -
Словно сон, словно белый рассвет...

Словно белый рассвет безобманный
Над пустынной тоской бытия.
Над погостом Всехсвятского храма,
Где покоится мама моя...

Над Самарой, ещё не уснувшей,
Над сухими холмами вокруг,
С тенью Пушкина, здесь промелькнувшей,
Лишь на миг по пути в Оренбург.

...Ты прости меня, серый, убогий,
Моей юности давний приют,
Что к тебе заблудились дороги,
И преданья тебя не найдут.

Может, это и к лучшему, - в пошлом
Этом сонме мятущихся лет -
Пусть останется прошлое в прошлом,
И сгорит, словно белый рассвет.

Что б как прежде немел от мороза
Всякий новый, неведомый звук,
Как забытый гудок паровоза,
Замыкающий времени круг.

Вступление

Однажды в подмосковном писательском Доме творчества "Переделкино", прогуливаясь по парку с одним маститым журналистом, промышлявшим темами диссидентства и "духовного сопротивления" шестидесятников, я неожиданно рассказал историю группы поэтической молодёжи одного маленького провинциального города, которую в начале 60-х разогнали их старшие товарищи по литобъединению не без помощи разных органов.

- Насколько мне известно, - добавил я, - это был вообще самый ранний в стране случай подобного рода, раньше пресловутого московского СМОГа, который числится едва ли не апологетом национальной демократии времён так называемой "оттепели"... По крайней мере, так это показывают сейчас журналисты...

- И Вы никогда об этом не писали? - Почуввав добычу, журналист насторожился.

- Видите ли, я не газетчик, да и не люблю все эти социальные драмы, от нынешних воротит... Кроме того, насколько мне известно, эта молодёжь была вне какой-либо политики...

- Любое духовное сопротивление - политика...

- Вот так, кстати, всё это тогда и обозначили их старшие товарищи... Но, по правде, сами ребята ни о какой политике и не помышляли... Справедливее это можно было бы обозначить как духовный бойкот навязываемому способу оценки бытия... Молодёжь, приглядевшись к тому, что происходит в пригизетном литобъединении, занимавшемся склоками и внутренними дрязгами, вышла из него и организовала свою группу. Они продумали и создали превосходный план занятий, выступлений, подготовки и редакции собственных произведений. Замыслили на будущее альманах или, на худой случай, - коллективный сборник. То есть, в принципе, это было стремление к свободной автономной

литературной учёбе, не более... Ведь те полтора-два десятка бывших "рабкоров", подвизавшихся тогда в литобъединении, возглавляемом назначенным "свыше" престарелым военным репортёром, все эти полуграмотные газетчики, корифеи всеобуча и коллективизации, поднаторевшие более в стукачестве, нежели в литучёбе, конечно же ничего не могли дать молодым талантливым ребятам, входившим в литературу.

- А как их разогнали?

- Да, очень просто... Несколько мерзавцев, провинциальных журналистов и чиновников, привычных стукачей и бесплатных сексотов, обозлённых самостоятельностью молодёжной группы, её популярностью в городе, разыграли тогдашнюю политическую ситуацию борьбы с... чёрт его знает, с кем тогда в очередной раз боролись...

Сяпали гнусный фельетон, который назывался "Бузулукские евтушенки", под какой-то очередной разносный партийный пленум для рапорта на верха, дескать, и мы на страже... Началась кампания... В провинции - это не в Москве, всё было предельно нагло, грязно и грубо... Вызвали, накричали, запретили печататься, приставили стукачей, кто-то и работой поплатился...

"Пропустили" и через горком комсомола, хотели исключить, но молодым горкомовцам так понравились стихи ребят, их программа самообучения, надо сказать, толковая и политически стерильная, что никакого "состава преступления" они не обнаружили. Понравились и сами молодые поэты, их достоинство, хорошие стихи, да и вообще, весь этот здоровый и умный способ саморазвития и литучёбы. Ну и "отпустили" их восвояси, за что сами немедленно получили нахлобучку уже от обкома...

Но в городе ребят всё же ославили и дискредитировали, газета и радио для них были закрыты навсегда и окончательно, и в организованной ситуации вакуума вдруг почти обесмыслилось и само творчество. Кто-то, кроме того, напугался, кто-то озлобился: группа стала понемногу рас-

падаться, пока не исчезла в небытие... Большинство разъехались, другие навсегда отошли от творчества, ну, кроме, разве, одного из них... Вот, собственно, и вся эта печальная провинциальная история, никого никогда не интересовавшая, никого особо не затронувшая... Это ведь не Москва...

- А где, повторите, это происходило?

- В маленьком районном городишке Бузулуке, это в Оренбуржье...

- Бузулук, Бузулук... - попытался вспомнить журналист, - это не связано ли с Неверовым, что-то там о голоде, кажется?..

- Да, это и Неверов, и некая, когда-то довольно известная писательница Чертова, которую благословил Горький, это, если говорить о конкретных, т.н. местных писателях. Но сами эти места - это прежде всего Аксаков, Державин, Карамзин, Даль, Плещеев... Освящены они и Пушкиным, привезшим отсюда "Капитанскую дочку" и, если верить легенде, сюжет для гоголевских "Мёртвых душ"... Кстати, и Толстой фабулу "Отца Сергия" нашёл где-то под Бузулуком... По крайней мере, существует такая версия... В общем, места не дикие, а литературно даже и очень обжитые...

Мы ещё прогуливались какое-то время, говорили о разном, но я видел, что журналист усиленно обдумывает сказанное мной, а прощаясь, он сказал:

- Знаете, Вы меня чрезвычайно заинтересовали... По сути, это сейчас самый ходовой материал, ведь сегодняшняя так называемая демократическая русская мысль, как бы её не оснащали и не приукрашивали, выглядит всё равно чужеродной, навязанной, совершенно не природной... Существует страшная нужда в примерах глубинного, подспудного пробуждения... Знаете, в свете так называемой духовной "оттепели" шестидесятых... Был такой термин... Скажите, а где бы поподробнее узнать об этом?

- Наверное, там, где всё это и происходило, в Бузулуке, в Оренбургской области... Кстати, молодёжная группа называлась БОМП⁴...

Я не сказал ему, что подробнее всего об этом можно узнать у меня, ибо я сам был и участником, и главной жертвой той маленькой, никем не замеченной тихой драмы, произошедшей в самой глубине России в начале 60-х годов уходящего навсегда века... Но, увидев этот хищный интерес, такой знакомый мне ещё со времён моей бузулукской молодости, я уже сожалел о том, что рассказал...

1.

Позже я много раз принимался за воспоминания о БОМПе, но что-то постоянно останавливало меня, чаще – ощущение того, что всё, что я напишу, будет словно бы мстью нашим прежним гонителям. Но ни намёком не хотелось уподобляться ни им, ни тем более нынешним "демократическим обличителям", повторять коварные приёмы тех и других. Тем более, и те из них, кто ещё, слава Богу, жив, как-то дружно и одновременно изменились, и нынче ратуют именно за то, на что ещё недавно обрушивались и негодовали.

Кстати, тот самый журналист⁵ Л.Б., открывший кампанию травли бузулукской молодёжи статьёй "Бузулукские евтушенки", – ныне вполне благополучный демократ, соидеолог вненациональной шантрапы, разрушившей державу, и, как и они, легко перелицевавшийся и примкнувший к клану тех, кого некогда отлучал и дискредитировал.

И я не очень был удивлён, когда прочитал недавно написанную этим журналистом(?) статью под названием

⁴ БОМП – бузулукское объединение молодых поэтов.

⁵ Любопытно, почему репортёры называют себя журналистами, а журналисты уже и писателями?

"Белые тапочки в гроб русской культуры", где он сетовал на незнание молодёжью аж самого Паустовского, кстати, не самого грамотного русскоязычного писателя. Но самое дикое, что он сетовал ещё и на то, "что государство не поддерживает молодых писателей". От статьи несмываемо несло помойкой, лицедейством, привычным и нескрываемым стукачеством, животной жадой продать покупаемый ныне товар, но опять-таки не было и намёка на возможность и право иного, самостоятельного мышления, право поиска "ненормативной истины", живого, нормального восприятия жизни, - вновь была только захлёбывающаяся болтовня и базар.

Вообще, какой породы эти люди? Откуда они взялись? Почему они моментально становятся на сторону сильного, почему у них отсутствует понятие чести, а жестокость их по отношению к слабым, но, по их мнению, опасным будущей возможной мстью, - эта жестокость не имеет границ?

Как ни странно, именно "школа" бузулукского пригазетного литобъединения позволила хорошо разглядеть это явление, его истоки, среду, заказчиков и "забойщиков" этого всеобщего массового театра лжи, вновь и вновь обваливающего страну в бездну... Именно там я неожиданно разглядел, какая шла между ними борьба, буквально не на жизнь, а на смерть. Однажды мне пришлось наблюдать, как Семён Львович Левинсон, тогдашний председатель бузулукского литобъединения, сказал сквозь зубы Петру Степановичу Филатову, местному краеведу, человеку тихому и интеллигентному, который издавна был на подозрении органов: - Опять за старое взялись, смотрите... - и как Филатов вдруг смертельно побледнел, а "старшие" товарищи по литобъединению удовлетворенно и понимающе переглянулись... Это был случай как раз нашего сближения с Петром Степановичем, который много занимался



с нами, молодыми, организовывал встречи и выступления, возил нас по толстовским местам, в Державино и на места усадеб Карамзина и Аксакова, через него мы познакомились с артистами местного самодеятельного театра, художниками и с единственным в городе композитором, с которым, впрочем, творческого контакта как-то не получилось...

Но самое страшное, вернее, показательное для нас, случилось потом, после фельетона и приказа горкома разогнать нас к чёртовой матери, - на голосовании о нашем исключении из литобъединения, когда и наш любимый Пётр Степанович, совершенно неожиданно для молодёжи, проголосовал дружно с остальными за наше изгнание из славных рядов литературного объединения имени Дмитрия Андреевича Фурманова, надолго озадачив и насторожив нас⁶...

Но подобные вещи, прескальзывающие в отношениях между старшими товарищами по литобъединению, к сожалению, стали замечаться нами очень поздно, а переоцениваться и того позже, и уже в иной, ретроспективной проекции...

А вначале всё литобъединение представляло из себя милый пригизетный междусобойчик добрых и улыбчивых старичков и старушек, с хорошо утверждённой иерархией, с какими-то традициями и даже с юбилеями... Писали все

⁶ Кстати, в нашей переписке с П.С.Филатовым, начавшейся довольно поздно, мы всячески избегали этой темы, хотя она незримо довлела над нами вплоть до его смерти, и я жалею, что не посмел или не посчитал нужным сказать ему наше общее прощанье. В конце концов, он был прекрасным, добрым и умным человеком, великолепным тружеником, истинным русским интеллигентом, только смертельно напуганным.

безобразно, неграмотно, никто не имел понятия ни о литературном процессе, ни о языке и пр., зато все знали, о чём следует писать, а о чём даже и думать нельзя...

Есть коварная, даже подлая сентенция, что жизнь не имеет сослагательного наклонения. Эта фраза придумана и освоена теми, кто не хотел бы, чтобы некоторые моменты прошлого подвергались бы пристальному рассмотрению. Но если жизнь и впрямь лишена возможности быть пережитой вновь и по-новому, то память, слава Богу, не лишена этого... И вспоминать подобное необходимо потому, что сейчас мы худо-бедно выходим из той духовной бездны, в которой пребывали наши отцы, - но не для того же, чтобы впасть в иную, уже безвылазную бездну, которую исподволь подготовили нам бесчисленные в своих обличьях Л.Б.?

И рассказать об этом меня окончательно подтолкнула простая и неожиданная мысль, что вот кончается век, даже и тысячелетие, проходит жизнь, начинается то полупрозрачное, которое определяет и новое отношение к прошлому, не как к перечню забот и обид, а как к пространству общего и невозвратимого проживания, которого, конечно же, уже ни изменить, ни переделать, но можно, в лучшем случае, лишь попытаться сохранить черты его, уходящие прочь и навсегда, - типы и характеры нашего общего века.

Ведь если мы не вспомним и не запечатлим правду, то её запечатлят все эти Л.Б., оболгав и исказив до неузнаваемости. И если и вспоминать что-то, то не для сведения же счётов или суда запоздалого и неправого уже просто потому, что мы все были жертвой своего времени и никому из нас не дано было встать над ним, над его нравами и порядками, над его жестокостью и равнодушием, встать над собственной жизнью...

2.

Первые мои стихи были написаны в армии. Я служил в Туркмении, сильно тосковал по родине и однажды совершенно неожиданно сочинил стихотворение, которое целый год держал в кармане, прежде чем послать на родину. Оно было опубликовано 19 февраля 1961 года⁷ в бузулукской газете "Под знаменем Ленина":

*Красива Азия, прекрасен город южный,
Здесь - виноград, льёт аромат урюк,
Но мне дорожке милый, в снег завьюжен,
Далёкий городишко Бузулук.
У вас там снег, Самарка льдом одета,
Февраль шумит ветрами снежных вьюг.
А здесь в пустыне, солнцем перегретой,
Тебя я охраняю, Бузулук...*

Да, это, собственно, была наивная песня, песня тоски по дому, почти бессознательный выплеск грусти человека, надолго оторванного от родного... Может быть, на этом опусе и закончилась бы моя "литературная деятельность", если бы не армейское литобъединение, в которое я стал ходить по совету замполита. Там нас весьма сурово и жестоко "воспитывали" в духе абсолютной преданности и верности долгу, а также гражданственности, причём воспитателями были пишущие отставные полковники и соборы армейских газет, чьим кумиром был Семён Гудзенко, ядовито-натурализированная поэзия которого на несколько лет отравила моё творчество. Вспоминаю, с каким восторгом тогда я повторял строчки Гудзенко:

*Быть под началом у старшин
Хотя бы треть пути,*

⁷ О, если бы я знал, что именно с первой публикации начинают насчитывать литературный стаж, я бы прислал стихи на год раньше...

*Тогда смогу я с тех вершин
В поэзию сойти.*

Только гораздо позже я понял, какое нищенство духа проповедовалось в этих стихах, ибо, если и быть поэту "под началом" кого-то, то только собственной души и со- вести, и ничего более...

Высоко котировались в армейских литобъединениях стихи Маяковского и его бездарнейшего эпигона Лугов-ского, которых нам усилен-но вбивали в голову. Но ни-какой другой поэзии, кроме школьно-хрестоматийной, я до этого не знал и впитывал предлагаемое как должное.

С Маяковским было предельно ясно, я довольно легко имитировал его сил-лабику, где главное была нарочитая интонация надговорения, т.н. "поза слова". Ко-нечно, качество навязываемого я тогда определял почти интуитивно, хотя абсолютный лексический слух, (о кото-ром я сам тогда и не догадывался), помогал мне неприну-ждённо писать под кого угодно, и я даже завёл себе тет-радь, исписанную т.н. "сознательными реминисценция-ми", т.е. экзерсисами и опытами, где были стихи, трудно поверить, написанные всеми существующими размерами и даже не существующими, например, пеоном четвёр-тым... Занимался я и дадаизмом, поэзией "интрузирован-ного слова", т.е. совершеннейшей чепухой.

Чаще всего я реминисцировал так называемый муж-ской, мужественно-патриотический взгляд на жизнь и че-ловеческое предназначение, что, в принципе, может быть, было и неплохо, если бы всё это было природным движен-ием души, а не нарочитостью положения и, вызванным им,



напористым и ироничным стилем творческого поведения.

Однако в то время всё это увлекало, иногда захватывало и заставляло работать, а точнее, играть в Нечто. Вспомнилось армейское стихотворение (Туркмения, 1961 г.):

*...День жарою пронзён и пронизан,
Тянет ветер песчаную мглу...
Несмешная ирония жизни -
Эта станция Джуджу-клу...
Танки снова готовы к атаке,
Страшен дизелей сумрачный гром,
И блестят напряжённые траки,
Полированные песком...*

На этой станции в пустыне мы загоняли на платформы танки после учения, а я писал это на перекуре, где-то в тени палатки... Задувал мглистый афганец, скрипел песок на зубах, а чай, который я прихлёбывал из фляжки, был солоноватым... Тогда, под усиленным давлением замполитов, я готовил свою первую книгу, которую хотел назвать "Дорога на Хаузхан"⁸. Любил эти экзотические названия, сам звук этих слов, которые в сочетании с армейской "экзотикой" давали мне ощущение романтики, т.е. некоей необычности бытия... Джуджу-клу, Иолотань, Мерв, Согдиана, Маргиана, кобры, шакалы, вараны, заснеженный Копет-Даг, - эти слова прокатывались в стихах какой-то суровой музыкой пространств, гор и пустынь, и в общем всё это было нисколько не хуже романтических модулей "трудовых свершений", которых требовали знатоки и апологеты соцреализма...

В Бузулук я вернулся армейским поэтом с привычкой постоянно писать, публиковаться, читать написанное вслух, общаться с пишущими

⁸ Книга по разным причинам не состоялась, и я сейчас не жалею об этом.



И естественно, первое, что я сделал после того, как устроился на завод фрезеровщиком, - отыскал литобъединение при местной газете, радостно обнаружив и здесь собратьев по интересам, перезнакомился с ними, людьми, на первый взгляд, милыми, добрыми и простодушными и искренне обрадованными новому человеку, и стал членом этого литобъединения, совершенно не подозревая, какой это ящик Пандоры и какая драма развернётся здесь через некоторое время.

3.

Что такое русская провинциальная литература вообще и поэзия в частности? Для кого и для чего она? Что это за явление, и стоит ли оно вообще какого-либо разговора? В одном своём довольно раздражённом эссе⁹ я вообще почти зачеркнул необходимость или какую-либо значимость этой самодеятельности для общей национальной культуры. Здесь не место делать широкие обзоры, затевать споры или доказывать обратное. Некогда поэт Иван Доронин собирал и издавал гигантские многотиражные "кирпичи" сводного творчества литобъединений страны под названием "О чем поет народ Отчизны", пытаясь показать "возросший" или "возрастающий" уровень пишущей провин-

⁹ Эссе «Словом горестным не обогрет», из книги «Золотое перо иволги». Алма-Ата, 1992.

циальной братии, но читать всё это было совершенно невозможно, так всё было однообразно, бездарно и скучно. Никакой поэзии там не наблюдалось, "народ отчизны", по Доронину, оказывается, беспрерывно и обильно создавал только графоманские переложения передовых статей своих газет, но безусловно, это был не народ отчизны, а провинциальные имитаторы поэзии.

А на самом деле народ отчизны поёт, т.е. поэтически самовыражается, только через своих избранных истинных Поэтов-Божьей-Милостью, которых бывает всегда немного, два-три на каждый данный момент эпохи, но этого вполне достаточно.

Но в скудном культурологическом пространстве тех лет (особенно в провинции) творческим людям деваться было просто некуда, и они вынуждены были собираться и объединяться под эгидой районных газет, самостоятельно подставляясь под "недреманное око" стукачей и сексотов, которые были обязательным атрибутом всех подобных организаций, кстати, для того и создаваемых.

Чем мы жили, кого читали, кто был нашими кумирами в 60-е годы, во времена массово герметизированного сознания, незыблемых догм и непререкаемых авторитетов?

А жили мы, т.е. следили за литературной деятельностью таких некогда "столпов" поэзии, как Прокофьев, Щипачёв, Твардовский, Смеляков, Сафонов, Луконин, Луговской, тот же Гудзенко, присматривались к шумной публичной поэзии входящих тогда в моду Р. Рождественского, Е. Евтушенко, А. Вознесенского, являвшимися на самом деле, как это видно сейчас, просто ловкими эпигонами некоторых литературных течений начала века...

Это - только самое характерное, именно то, что постоянно было на слуху, в печати, эфире.. Но в литературу начинали входить, ближе к 70-м, ещё неизвестные нам Прасолов, Передреев, Рубцов, Вл.Соколов.

Это была уже по-настоящему новая поэзия, впрочем многое унаследовавшая от старой, в том числе и главный её технический недостаток - плохопись¹⁰.

Нужно сказать, что мы, в общем-то, довольно скоро стали понимать, что литература, которую нам всячески навязывали, была т.н. "приблизительного" качества.

Вспомнилось одно из тогдашних моих стихотворений, которое я с успехом читал с эстрады, но опубликовать его было, конечно, немыслимо. Вот отрывки из него:

...А за окном - струится и течёт!

Весна, о величайшее искусство,

Плюя на эстетические чувства,

Шедевры создавать из ничего...

И словно б для контраста с тучей брызг

Приёмник-сволочь квакает дуэтом

О том, как превосходно быть поэтом,

И как поэту надо строить жизнь, -

О том, как замечательна Барто,

Как Щипачёв овладевал сюжетом...

В приёмнике забыли, видно, то,

Как, грохнув узкорылым пистолетом,

Ушёл от нас последний из поэтов...

Слова плетут наскучившую нить,

И бьются, как горох, об эту стенку...

Когда поэту нечего курить,

Он пишет с никотиновым оттенком.

¹⁰ В одной из моих бесед с известнейшим критиком и литературоведом В.К., некогда "открывшим" Передреева и Рубцова, тот признался, что в сущности у Рубцова не более шести-восьми отделанных стихотворений, остальное так и осталось недоработанным, но этот факт для того литературного времени был малозначителен, важнее было представить вдруг открывшуюся новую поэзию, её национальный дух, песенность и сердечность. К сожалению, по инерции, этот хронический недостаток тогдашней новой поэзии и до сих пор как бы не замечается. Не лишний пример, как окаменевают и становятся неприкасаемыми некоторые усечённые догмы.

Конечно, это был голый эпатаж, даже мальчишество, но видно, что в те годы мы уже не особо доверяли официозу, прекрасно отделяя говоримое от истины.

4.

Основным жанром тогдашней провинциальной поэзии была т.н. "пейзажная лирика" и стихи о любви. Такой странный жанровый сдвиг родился стихийно и утвердился по той же причине, о который О.Генри писал, что "безопасно можно писать лишь о том, что видел во сне и что слышал от попугая", т.е. редакционная селекция произведений местных авторов, направленная на то, чтобы прежде всего обезопасить себя от бдительного ока смотрящих и надзирающих, начисто отсекала темы социальные, хотя и требовала неведомой "гражданственности" и "активной позиции"¹¹.

Надо сказать, что такая заведомая ориентация творчества была нам не в тягость, наоборот. Оренбуржье ведь сурово и неуютно только для тех, кто там не бывал. На самом деле этот большой край, природно чрезвычайно разнообразный и неожиданный, очень ярко в резких погодных изменениях, где каждая зима или весна - это событие, каждая осень - умиротворённая и незабвенная, а лето полно раскалённого восторга и пыла. Знаменитое описание оренбургского бурана у Пушкина или роскошные летние полотна Аксакова могли бы стать весомым аргументом в подтверждение этого, если бы не безосновательное убеждение в том, что ныне всё меньше читают великих русских классиков, но всё больше и безотрывнее смотрят телевизионные полуфабрикаты, увы, далеко не классиков...

¹¹ Эта расхожая терминология тогдашних редакционных работников конечно же не предполагала истинной активности и истинной гражданственности, этот условный, даже "метафорический" язык политизированной демагогии предполагал нечто как раз противоположное: омертвевшую пассивность и внепозиционность сознания.

Кстати, не так давно (это было 1 октября 1998 года), я был грустно удивлён ещё большей безграмотностью западных киношников, чьё неведение граничит с тупостью. По телевизору шла какая-то французская дешёвка с престарелым, морщинистым, как сапог, Бельмондо в главной роли. Старый, страшный, седой, суетливо старательный. Бесперывно бегают, стреляет, поджигает, без конца улыбается... Как-то эти звёзды не могут уйти вовремя, не маячить, не ломать свой же ранний имидж...

Вот герой Бельмондо обольщает девушку, стараясь увлечь её романтическим путешествием в самые экзотические уголки земли:

- Хотите увидеть джунгли Африки?..

Героиня молчит.

- А скалы и пики Гималаев?..

Девушка индифферентна, видимо, и эта экзотика её не прельщает. И тогда герой Бельмондо выкидывает последний козырь, предлагая капризной девушке самое уж экзотичное, страшное, опасное и дикое:

- А хотите побывать в глуши татарской пустыни под Уралом?..

Честно говоря, дальше эту ахинею я смотреть не стал, тем более, меня вдруг пронзило, нет, не обидой на эту чушь собачью, ведь если "Ален Делон не пьёт тройной одеколон", то стоит ли и от Бельмондо требовать знания русской географии, - но пронзило острым чувством тоски по родному, покинутому, почти забытому, далёкому и прекрасному...

Господи, да ведь я как раз и родился в этой самой страшной для европейцев "глуши татарской пустыни под Уралом", там прошла моя юность, там был дом нашей семьи, утопающий в прекрасном вишнёвом саде, с изумительными яблонями и ранетками над крыльцом, обламывавшимися осенью под тяжестью сладчайших золотых

плодов, которые было некуда девать... Край, величиной с пол-Франции, земля, дающая лучшую в мире пшеницу, одна из прародин человечества, родина самой ранней бронзы, круглых городов протоариев, т.е. и тех же французов, - франков-галлов или вранов-галиц русских легенд...

Пустыня...

Вот как описывает этот край Сергей Тимофеевич Аксаков, совершенно изумительный, но недооцененный писатель:

"...что за приволье было на этих берегах! Вода такая чистая, что даже в омутах, сажени в две глубиною, можно было видеть на дне брошенную медную денежку! Местами росла густая урёма из берёзы, осины, рябины, калины, черёмухи и чернотала, вся переплетённая гирляндами хмеля и обвешанная палевыми кистями его шишек; местами росла тучная высокая трава с бесчисленным множеством цветов, над которыми возносили верхи свои душистая кашка, татарское мыло (боярская спесь), скорлазубец (царские кудри) и кошачья трава (валериана). (Река) течёт по долине; по обеим берегам её тянутся, то теснясь, то отступая, отлогие, а иногда и крутые горы; по скатам и отрогам их изобильно рос всякий чёрный лес; поднимешься на гору - там равнина, непочатая степь, чернозём в аршин глубиною. По реке и окружающим её болотам все породы уток и куликов, гуси, бекасы, дупели и курухтаны вили свои гнёзда и разнообразным своим криком и писком наполняли воздух; на горах же, сейчас превращавшихся в равнины, покрытые тучною травою, воздух оглашался другими особенными свистами и голосами; там водилась во множестве вся степная птица: дрофы, журавли, стрепета, кроншнепы и кречётки; по лесистым отрогам жила бездна тетеревов; река кипела всеми породами рыб, которые могли сносить её студёную воду: щуки, окуни, голавли, язи, даже кутема и лох изобильно водились в ней; вся-

кого зверя и в степях и в лесах было невероятное множество; словом сказать: это был - да и теперь есть - уголок обетованный¹² ..."

Такими восторженными описаниями переполнены все произведения Аксакова. Но и гораздо позже, в мою уже бытность, весь этот край т.н. Приуральский Сырт был землёй вполне обетованной. И если несколько поубавилось лесов и всякой живности в округе, то всё остальное было в полном наличии, и шикарный чернозём, и великолепные урёмы вдоль рек, и здоровый, хотя и жестковатый, климат, который отличался тем, что всего всегда было чересчур: зимних морозов и метелей, летней жары, мощнейших речных половодий, солнца, ветра, простора...

Нет, мы были не обижены родиной, о природе которой мы писали восторженно и пылко. Но нас отлучали и от неё, от любви и стихов, от молодости. Дикость эта может быть по-особому высвечена одним непридуманным случаем, который мог бы показаться анекдотичным, если бы не был столь жестоким.

Где-то уже в конце 67 года, когда скандал вокруг БОМПа стал подзабываться, нас опять стали осторожно публиковать в местной газете "Под знаменем Ленина". Печатали принципиально лишь стихи о природе, причём обнюхивали и разглядывали их едва ли не всей редакцией. Но однажды крепко промахнулись.

Вадим Нестеров, наш любимый БОМПовец, полубездвиженный инвалид с детства, которого во время выступлений мы буквально на руках вносили на эстраду под аплодисменты публики, - опубликовал в газете одно невинное на первый взгляд стихотворение. Я приведу его полностью, т.к. оно вызвало новую бурю негодования районных блюстителей порядка в мыслях трудящихся, и

¹² Аксаков С.Т. Избранное. Семейная хроника. М., 1996. С. 11-12.

нас снова и уже навсегда отлучили от газеты.

*Сентябрь
Ещё по-летнему берёзы
Клубятся зеленью листвы,
А по ночам уже морозы
Тихонько трогают цветы, -
Ещё журчит, не уставая,
Река, по-летнему легка,
И ветры, тёплые, как в мае,
Несут по небу облака, -
А осень, раздувая пламя,
Грустит последними цветами...
У каждой осени особый,
Свой, неподвластный нам разбег:
Её расцвет - октябрь багровый,
Весенне-влажный, стоветровый...
А там - ноябрь и - первый снег.*

Простое, прозрачное, невинное стихотворение. В редакции прочли, не обратив внимания на странную его разбивку, и опубликовали. И вдруг посыпались звонки, проницательные читатели сообщали, что по заглавным бук-



вам стихотворения читается какое-то имя!.. Можно себе представить, какой переполох это вызвало в редакции, ведь эти подлые поэты могли заглавными буквами опубликовать и какой-нибудь недозволенный лозунг! Тогдашние газетчики ведь понятия не имели об акrostихах, о традиции поэтов (кстати, и великих тоже) запечатлевать таким образом имя любимой и т.д. Просто сам

факт того, что они проглядели, а поэт не сообщил об акростихе, вызвал нешуточную тревогу. Я ещё подлил масла в огонь, рассказав одному из корреспондентов газеты, что акростихи бывают разные, они могут читаться и по второй букве строки, и по третьей, могут даже читаться и "ходом коня", варианты бесчисленны, и что, наверняка, они прозвевали в газете не одно такое произведение.

Совершенно очевидно, что были подняты все подшивки за многие годы, и были изучены все наши стихи в поисках акростихов по всем буквам строк, включая и систему "хода коня", но, видимо, больше никакого поэтического преступления обнаружено не было, иначе мы немедленно бы это почувствовали на себе...

Всё это похоже на маразматический бред или нелепый анекдот, но, к сожалению, это происходило наяву в не-большом районном городе в середине прошлого уже века.

5.

Мы решили выйти из состава лито, ибо там нам нечего было делать. В ежемесячных литературных страницах газеты наши стихи появлялись всё реже, их подменяли корявыми произведениями старших, только лишь потому, что они были заведомо и окончательно "благонадёжны". Никакого разбора произведений не было, да и некому их было делать. Многое, как это часто бывает, зависело от руководителя, от его кругозора и профессионализма. Но председатель лито Семён Львович Левинсон, бывший военный журналист, сам назначенный на свою должность лишь по причине абсолютной "благонадёжности", никакими особыми талантами не обладал. Это был, в общем-то, человек, не нашедший своего места в жизни, занимавшийся совсем не тем, чем должен был бы заниматься, бухгалтерией, например.

Забегая вперёд, хочу сказать, что перед моим окончательным отъездом из Бузулука осенью 1968 года, когда все распри улеглись, мы с С.Л. Левинсоном едва ли не

подружились. Я бывал у него дома, в странной неуютной военкоматовской квартире с незабываемой рыжей звездой на потолке, (видимо, здесь когда-то была т.н. "Ленинская комната"), где он читал мне главы из своей документальной повести с унылым заглавием "В те дни" и с таким же содержанием, и просил моих советов, а иногда и правки. Мне жаль было этого старого человека, изуродованного временем, который конечно же всё понимал, в том числе и своё внутреннее поражение в борьбе с очевидным...

Отсутствие публикаций мы компенсировали частыми и шумными выступлениями в многочисленных училищах и техникумах города. Нас там знали и любили, и аудиторией всегда были забиты битком, нет, не любителями поэзии, а, просто живой и бодрой молодёжью, тоже соскучившейся по живому незарегламентированному слову.

Всё это страшно раздражало наших старших товарищей и уйти спокойно нам не дали, решили изгнать официально. Происходило это долго, глупо и неуклюже, с несколькими голосованиями, т.к. голосов почему-то всегда не хватало. Тогда из небытия извлекали каких-то неведомых нам старцев, рабкоров аж 20-х годов, якобы тоже членов лито, привозя их на редакционной машине. Мы всё это прекрасно видели, весело наблюдая за старательным желанием престарелой верхушки лито избавиться от непредсказуемой и опасной молодёжи, видели и подловатенькие приёмы старших, и неожиданные предательские выпады тех, от кого мы и не ожидали, (с ними, очевидно, была проведена "индивидуальная" работа), и бесконечные ступенчатые голосования - до нужного результата, и демагогию, демагогию, демагогию...

Мы стали собираться в нашем доме, всегда открытом для всех, обсудили и приняли устав нашей группы, наметили и утвердили программу самообучения, очерёдность обсуждаемых авторов. Сейчас я вижу, что это было прообразом множества литературных студий, которыми впо-

следствии я руководил во многих городах страны, именно студий, а не аморфных литобъединений. Собирались мы каждую субботу в течении двух лет, и наши встречи становились для нас необходимостью.

Название БОМП родилось не сразу, мы перебрали множество аббревиатур, пока не остановились на этой, надо сказать, звучной и исчерпывающей по содержанию: Бузулукское объединение молодых поэтов. Нам ещё нравилось, что аббревиатура страшно пугала "старших товарищей", видимо, тем, что напоминала по звучанию слово "бомба". Косвенно мы это поняли ещё и из пасквиля репортёра Л.Б. "Бузулукские евушенки", где он расшифровывал название объединения как "боевой отряд молодых поэтов", - что было, конечно, подлейшим приёмом, навлекшим на нас ещё и пристальное внимание разных органов, что мы вскоре почувствовали...

Выбрали мы себе и лозунг, он был и символом, и паролем, и тостом в наших поэтических застольях, но сейчас я вижу, что в выборе лозунга мы были ещё далеки от понимания его нарочитости, духовного экстремизма и надуманности. Хотя, надо заметить, мы вкладывали в этот лозунг несколько иной смысл, нагрузка которого лежала на предпоследнем слове:

Мы не от старости умрём!

Это была строчка из стихотворения Семёна Гудзенко, начало которого выглядело так:

*Мы не от старости умрём,
От старых ран умрём! -
Так наливай по кружкам ром,
Трофейный рыжий ром!..*

Начиная этот очерк, я попросил бывших бомповцев, тех, кого я отыскал, написать и прислать мне свои воспоминания. И был поражён, когда прочитал не о нашей

борьбе в литобъединении, не о разгоне БОМПа, не о грязной статье пасквилянта Л.Б., а в основном, о впечатлениях, связанных с поэтическими собраниями, которые происходили в нашем доме. Это были воспоминания о празднике молодости, незабвенном и ярком, осветлённом ещё и той счастливой особенностью человеческой памяти, которая самоспасительно отмечает дурное, оставляя лишь сокровенное.

Вот отрывок из воспоминаний Вадима Нестерова:

"Дом Евгения Курдакова находился в глубине старого вишнёвого сада, деревья которого по весне были снежно-белы от буйного цвета. Нас чаще всего встречала сестра Жени, Людмила, красивая, сероглазая семнадцатилетняя девушка и приглашала в дом. Там, в зале стоял большой круглый стол, покрытый золотистой бархатной скатертью, а в углу у раскрытого в сад окна стояло старинное австрийское пианино Ed. Seiler, инструмент прекрасного и редкого звучания, клавиши которого отливали перламутровым цветом. На пианино лежали ноты, в основном Шопен, Моцарт, Чайковский. И повсюду были книги, где можно было найти почти всё, и классиков, и современников...

Когда мы читали друг другу стихи, Людмила тихо играла, всегда выбирая для каждого из нас наиболее созвучные творчеству произведения. И стихи читались легко, обретая особый колорит времён то ли пушкинских, то ли начала века.

Мама Жени была больна, - но, слепая и парализованная, она из соседней спальни с удовольствием слушала молодёжь, иногда подавая реплики, всегда очень точные и умные: она до болезни была военным врачом и очень любила литературу..."

Всё это довольно сентиментально, но воспоминания и других бомповцев написаны в том же ключе, где почти ни слова нет о перипетиях нашего изгнания из лито, но много описаний, связанных именно с нашим домом, нашей семьёй...

Кстати, это заставило меня самого задуматься и по-

нять, что первоначальное моё желание обострить очерк некой сюжетной интригой, усилить драматизм происходившего, увело бы меня от правды жизни, которая всегда, в принципе, ретроспективна, внежанрова и бессюжетна, она, просто жизнь...

Именно потому мне хочется сказать ещё, что всё это, и БОМП, и наши литературные занятия именно в нашем доме, и постоянный круговорот инициируемых мною событий рядом и вокруг, - всё это было ещё и тем, о чём и не догадывались мои друзья, - нашим семейным способом самоспасения от одиночества, от ощущения вечного горя из-за находящегося в доме больного, но бесконечно любимого существа, от обречённости, не выдуманной, а реальной, наших живых судеб, которые, после бегства отца и тяжелейшей многолетней болезни матери, остались словно бы загерметизированы в замкнутом пространстве семьи и дома. Невозможно было даже и мечтать об учёбе, карьере и пр., о поездках куда-либо, - но этого никто не знал, тем более, мои друзья по БОМПу.

Кстати, многое я тогда писал, никогда никому не показывая. У меня развился своеобразный стиль "писания для себя", особого накатного стихопрозаического "потока сознания", и эту стихопрозу я писал километрами, не уставая и не иссякая:

"Октябрь, октябрь... Мой вымученный гений иссяк, опустошённый гвалтом драм. И мрачно отставляя свой стакан, я говорю: - Не стоило, Евгений. Не стоило трепать своё лицо в десятках рук, участия молящих: угрюмый клан безропотно скорбящих пополнится ещё одним глупцом...

Дождь льёт и льёт, обидно, - ну, и пусть. Поэты, мы ведь жадны и всеядны, а иногда, как звери, плотоядны, готовы проглотить любую муть, любое слово в поисках сюжета... Прости поэта, улетает лето, и душу угнетает эта грусть, что вот, ещё и лето недопето, а за окном дождей осенних жуть, и солнца не вернуть... Прости поэта...

А дождь всё лёт, он город взял осадой... Ах, броситься бы в этот хлюп и вой и где-нибудь безумною строфой надсадно взвять под Надсона... Досадно, что умер он. А мы бы с ним сошлись и вместе возрыдали бы дуэтом о том, как безнадежно быть поэтом, и как поэту трудно строить жизнь...

Тоска и сумасшествие, - толпой плетутся люди мокрой мостовой, корявые анфас, горбаты в профиль, несут свою капусту и картофель, а я, забитый в сумрак мефистофель, смотрю, как гибнут люди... За металл? - Я ломаной копейки бы не дал за то, что они делают с собою... Шуршит осенний дождь над головою, - подёрнуты цыплячьей желтизной, сады, глотая тайную обиду, угрюмо ожидают панихиду, склонившись обречённую листвою...

Ни веры, ни покоя, ни рубля...

О счастье боевого неименя,

Когда не ждёт маразм и онемение,

И скатертью расстелена земля!"

Конечно, эта медитация тоски и отчаяния была тоже лишь способом самоспасения: скатертью земля была, увы, не расстелена...

Позже я написал стихотворение, в полной мере определившее одну скрытую истину нашего поэтического содружества, которое, собственно, горело, дышало и двигалось на одном моторе:

Я вас придумал, милые мои,

Друзья моих постылых одиночеств,

Когда в глухой тоске полупророчеств

Я пропадал без веры и любви... и т.д.

Такие стихи друзьям не прочтёшь, хотя, подвыпив, что иногда случалось в нашем раскованном братстве, я кричал, стуча по столу:

- БОМП - это я!

Соратники улыбались, но особо не возражали, очевидно признавая в этом моём не очень уместном эпатаже долю правды...

6.

Нас, БОМПовцев, в разные времена было до 20 человек. Вспоминаю я Николая Долганова, пришедшего к нам из лесного техникума, с милыми стихами о воробьях, рябине, родном доме... Помню и белокурую Тонечку Чиняеву, которую моя мама, склонная к перифразам, называла Сочиняевой. Вспоминаю и резкого, пылкого Николая Абсалямова, писавшего бесконечные стихи о бесконечных своих влюблённостях... Кроме того было много и "полупишущих" спутниц БОМПа, что вполне естественно для общества молодых поэтов, и т.д. Но постоянное ядро составляли четверо: Юрий Матасов, Вениамин Побежимов, Евгений Воронков и я.

С Матасовым мы познакомились и подружились как-то мгновенно и сразу стали друзьями. Он кажется тогда заканчивал вечернюю десятилетку и работал на мелькомбинате. Умный, изящный, органически интеллигентный, Юрий был самозабвенно увлечён новейшей для того времени поэзией Евтушенко, Вознесенского, Рождественского. Мы внимательно присматривались к опытам Матасова, внешне чрезвычайно современным, но заставлявшим нас быть несколько настороже. Это очень характерный момент: самовоспитание через опыты друзей. Дело в том, что любое переотражение, контаминация, гораздо существеннее раскрывает суть процесса.



И стихи Матасова, заведомо уступавшие поэзии Евтушенко и Вознесенского, вернее, провинциально утрирующие их стиль, как-то более отчётливо демонстрировали и нарочитый эпатаж этой поэзии и её избыточную публичность, и условность формы, и сквозящую из всех щелей

конъюнктуру. Однако понимание этого было подспудным, внутренним, внешне же мы едва ли не завидовали Матасову, его умению всегда быть как бы в круге моды, современных тем, его эстрадным успехам (на всех наших выступлениях он пользовался особой популярностью у главных наших слушателей - студенток бесчисленных бузулукских училищ и техникумов).

Вот одно из типичных стихотворений Юрия Матасова, посвящённое мне, которое, кроме прочего, хорошо фиксирует и наши внутривузовские взаимоотношения:

*"Ты здесь не нов, а здесь напыщен,
А здесь - толковых ни строки.
Да ты ж ни чёрта не напишешь, -
Ты сам не хочешь быть другим."
А я тебе, что ты жестокий,
Что это слишком уж зашло.
И я спрошу тебя: "За что так?"
И не хочу понять за что.
.....
...А будет день, (дай Бог, чтоб не был!)
Имея прошлое в виду,
В тот день, ни зол уже, ни нежен,
К тебе попутно забреду.
И будет снова всё как прежде,
Ты улыбнёшься: "Чем богат?"
И пригласишь к столу, где крепкий
Грузинский, крошки и бокал.
"А ну, читай!" И я впервые
Сыграю партию в обман.
Стихи смолчат, нам лучше видно,
Но будет тесен им карман.
А я смолчу - для общей пользы,
И не прочту, не покажу...
Ты станешь прав с тех пор, и больше
Я ничего не напишу.*

18.2.63 г.

Хорошо просматриваются здесь наши ролевые качества внутри БОМПа, но не только. Стихотворение удивительно точно спроецировало и наши будущие судьбы. Юрий Матасов после БОМПа, кажется, постепенно отошёл от поэзии, по крайней мере, его фамилию я только раз встретил в центральной печати, где в одном из альманахов "Дней поэзии" появилась его большая подборка, состоявшая из старых, ещё времён БОМПа, стихов, откровенно "свтушенковидных" и в новой литературной ситуации выглядящих весьма старомодно. Не лишний пример того, как быстро устаревают всё сиюминутное и неорганичное...

Но самое удивительное, что тот пресловутый журналист Л.Б. использовал это невинное стихотворение для иллюстрации своего пасквиля "Бузулукские ештушенки", выдернув из него строчки о "грузинском, крошках и бокале", которые в общем обличающем контексте выглядели иллюстрацией нашего якобы беспробудного пьянства и распущенности...

Юрий Матасов был истинным рыцарем, отважным романтиком, и не только в стихах, но и в жизни, в чём мы однажды убедились. Где-то в 1963 году в февральскую вьюжную ночь с башни мельзавода, самой высокой точки города, ветром снесло флаг, вывешенный ко дню Советской Армии. Матасов в сильнейший ветер по обледеневшим скобам поднялся на башню, нешуточно рискуя жизнью, и водрузил на место флаг. Об этом взхлёб писали местные газеты, но Матасов всегда избегал разговоров на эту тему, даже как бы досадовал на избыточное внимание ко всему этому...

7.

Из всех бомповцев мне особенно близок был Евгений Воронков. Он пришёл ко мне сам, узнав адрес в редакции газеты, и сразу был принят нашей группой, обогатив всех нас своей романтической, воздушной поэзией:

*Хочешь о море? Я выдумал гул, -
Ритмы волновые слушай:
Много в морях осторожных акул,
Много медуз и ракушек.*

.....
*Любишь ли, ждёшь ли прилёта скворца,
В радости, в грусти и горе, -
Будем счастливыми! Пьём до конца
Наше нелёгкое море!*

Да, совершенно очевидно, что эти стихи опирались на поэзию Багрицкого, в общем-то, экстремистскую и разрушительную. Но в то время мы, естественно, совершенно не знали ни Гумилёва, ни Георгия Иванова, пробавляясь тем, что нам подсовывали загадочные серые кардиналы тогдашнего литературного процесса, бесконечно издававшие как раз Багрицкого, Кульчицкого, Светлова, Луговского и пр., поэтов, в принципе, вненациональных, русскоязычных... Но это отдельный и весьма нелёгкий разговор...



В те годы мы с Воронковым работали в одном цехе на заводе тяжёлого машиностроения, я фрезеровщиком, он карусельщиком, мало того, Воронков и жил какое-то время у меня, когда у него начались какие-то нелады в семье. Поэтому наша дружба была почти братской.

На заводе мы иногда проводили нечто вроде поэтических двадцатиминуток во время обеденных перерывов, редактировали стенгазету цеха, и вообще, пользовались той хорошей популярностью, зарабатываемой ещё и, просто, тем, что на заводе особенно ценится - самой работой.

Вспоминаю один эпизод, который сейчас может показаться забавным мальчишеством, но тогда для нас это бы-

ло воистину Поступком. Как-то нам попалась новая книга Роберта Рождественского, который тогда входил в силу и моду. Весь вечер, хохоча, мы читали корявые, плохо сделанные вирши, полные нескрываемой конъюнктуры, выпирающей из каждой строки. Поэт явно шёл вразнос, нацелив себя на Госпремию.

- Слушай, давай мы его отфрезеруем, - бросил я мысль, которую Воронков немедленно подхватил: ...- и пошлём отфрезерованный сборник Роберту Ивановичу...

Что и было сделано буквально на следующий день.

В конце смены мы собрали ребят из нашего цеха, прочитали им пару стихов Рождественского из самых одиозных, и объяснили, что к чему. Потом я закрепил сборник Рождественского в тисы станка, поставил большую торцовую фрезу и на максимальных оборотах и малой подаче прошёлся фрезой по книге. Ребята поаплодировали, а мы собрали в пакет прах отфрезерованного сборника и написали письмо, в котором сообщили, что это ответ рабочего класса на фальшивую поэзию, послав всё это бандеролью на адрес Московского союза писателей.

Конечно, ответа мы не дождались...

(Сегодняшние демократы наверняка обозначили бы всё это "акцией", однако надо сразу сказать, что мы никогда не диссидентствовали, мы даже и слова этого не знали. А поступок был следствием наивно-романтического восприятия жизни и литературы, весьма характерный для молодёжи того времени.)

Воронков постоянно что-нибудь приносил новенькое из прочитанного:

*На святой Руси петухи поют,
Скоро будет день на святой Руси.*

- Господи, кто это? - вскрикивал я, поражённый.

Воронков, сделав положенную паузу, как бы нехотя выдавал тайну:

- Читать надо русскую поэзию... Это стихи Н.Берга, совершенно уже забытого поэта... Не лишний пример, что не боги горшки обжигают... Ну, а это:

*Валентина, звезда, мечтанье,
Как поют твои соловьи!..*

- Твои?

- Александра Блока, конечно...

Мы много говорили и спорили о форме поэзии, уже тогда догадываясь, что ямбо-хореическая традиция себя исчерпала и нужно выходить на иную музыку стиха.

Мы даже разрабатывали вообще совершенно новый способ поэтической организации музыкально-образного пространства, придумав т.н. "сонатную форму", - нечто вроде образного потока, заключённого в строгую четырёхчастную композицию, которую позаимствовали из музыки. Не помню, что писалось в этой форме, но помню, что это выглядело достаточно интересно и зрело⁴...

Помню наши споры по поводу "Золотой розы" Паустовского. В принципе, там проповедовалось нечто вроде литературного крохоборства, что, естественно, нами начисто отвергалось... Мы тогда ещё не вполне понимали, почему некоторые имена так назойливо и методично навязываются русской литературе, в те годы это были Эренбург, Кирсанов, Паустовский, - и все они представлялись едва не гениями, их имена обыкновенно внедрялись в перечни русских классиков, чтобы возникала привычка видеть их на тех местах, куда их водружали...

Лишь гораздо позже я пойму, в чём дело, уже воочию столкнувшись с этим процессом, к литературе не имеющим никакого отношения... Но тогда обо всём приходилось размышлять и догадываться самостоятельно.

⁴ Рукописи конечно же не горят, они просто исчезают. К сожалению, уезжая в 1968 году из Бузулука, я оставил свои архивы у родственников. Все архивы, естественно, пропали...

После разгона БОМПа Евгений Воронков учился в Самаре, кажется, на филфаке пединститута, но дальнейшей судьбы его я не знаю, хотя предчувствую, что он не оставил литературу: он был по-настоящему талантлив, глубоко начитан и обладал великолепным самостоятельным вкусом...

8.

Сейчас, уже ретроспективно, я вижу, что самым одарённым из нас, вернее, самым природным был наш четвёртый собрат из основного ядра БОМПа - Вениамин Побежимов. В те годы он учился в гидромелиоративном техникуме (который почему-то называли "лягушатником") и писал лёгкие, простые стихи, которые нам в то время не казались большим открытием, слишком уж они были традиционны. Сейчас-то я вижу, что как раз это и было преимуществом природного дара Побежимова, изначально настроенного на песенную гармонию:



*Я с радостью одной живу сейчас, -
Что кто-то мне до гроба будет верен,
Я в этом без сомнения уверен, -
Иначе бы давным-давно погас...
А как у вас, а что у вас внутри?
Быть может, я не прав и чуть наивен...
Я думаю, надежда - это ливень,
Чему-то помогающей расти.*

Если отбросить некоторые технические шероховатости, то легко заметить чистоту и точность чувств, выраженных просто и ёмко. Но, повторяю, мы тогда как-то этого не ценили, - традицию, простоту, песенность. Отра-

ва "пастернаковщины" и её побочного ответвления - "евтушенковщины" затронула и наши души. Исподволь подкрадывалась и новая зараза - бардовщина. Уже появлялись первые записи Окуджавы и Высоцкого, хотя во времена БОМПа это было ещё не столь актуально, бардовщина захлестнёт, погубит, испортит слух и вкусы уже следующего поколения...

Нужно сказать, что мы всё же любили нашего младшего друга (он был на два или на три года младше нас) за ту его особую чистоту и гармонию стиха и души, которой нам всем не хватало, и когда Веня читал нам:

*Промелькнёшь улыбкой и - пропала...
Я мечусь, в толпе тебя ища.
Может быть и ты меня искала,
Губы пряча в воротник плаща, -*

мы прекрасно видели, что это не поза, не выдуманный графический фантом, а совершенно реальный и знакомый факт из короткой тогда биографии поэта, который был весь на виду.

Как раз такая живая поэзия возрождалась тогда в глубине России, поэзия неведомых ещё нам Передреева, Рубцова, Вл. Соколова, но познакомиться с ней нам придётся уже гораздо позже, врозь, уже за пределами и БОМПа. И как жаль, что в то время мы так и не нашли себе умного наставника, знатока, мастера, да и откуда он мог взяться в глухой русской провинции середины уходящего века?..

Здесь нужно сказать и о чрезвычайной сложности литературной учёбы вообще. Быть может, из всех видов человеческой творческой деятельности, определяемых прежде всего ещё и особым редко встречаемым талантом (порусски - даром), это - наиболее сложное, трудное, обманчивое и неблагоприятное.

Обманчивость - в видимой обиходности самого "материала" - языка, который, казалось бы, дан всем поровну.

Однако, это совершенно не так, в чём любой пишущий начинает убеждаться почти сразу.

Неблагодарность - в том, что почти любое достижение в этой области - промежуточно. Как бы далеко или высоко ты не взошел, всё оказывается лишь этапом, а вершина недостижима...

Трудность - в том, что это не профессия, дающая хлеб насущный, а призвание, отнимающее этот хлеб...

В том же советском обиходе, где проживали все мы, литературному творчеству придавалась всего лишь декоративная роль, даже и не вполне обязательная, долженствующая как бы обслуживать нечто "более важное", т.е. идеологию. Сейчас уже отчётливо видно, какую злую шутку сыграла недооценка идеологами того, что называется искусством, в частности, - литературой, т.е. творческим самоопределением народа. Здесь, на развалинах и самого строя осталась зияющая дыра соцреализма, м.б. самого бесплодного периода русской литературы, где в корифеях ходили полутрамотные и совершенно бездарные личности, создавшие автоматическую систему самоназора.

К сожалению, судьба Вениамина Побежимова мне тоже неизвестна, и опять-таки можно предположить, что литература, поэзия не остались для него чуждыми, а свою книгу он, безусловно, написал...

9.

На этом, собственно, и можно было бы закончить печальную историю погубленных талантов и несостоявшихся судеб, посетовав на жестокое время, исказившее нормальные взаимоотношения поколений настолько, что, в принципе, именно отцы, не ведая того, душили собственными руками будущее своих же детей.

Но в этом случае за сказанным, к сожалению, останутся судьбы людей несостоявшихся по иным причинам, совсем не связанным с издержками времени, а просто, заведомо обречённых на небытие-в-бытие самими свойст-

вами не простого человеческого сосуществования, в котором мало места остаётся изгоям, людям болезненным, с надломленной психикой и странностями поведения.

На Руси их когда-то называли юродивыми, людьми не от мира сего. И если статус юродивого был-таки когда-то, как говорят, социально востребованным, даже необходимым обществу, то в наше регламентированное время это были люди начисто отторженные от жизни, они совершенно не помещались в социальный суррогат установленного порядка, обустроенного межеумочной политикой, - и попросту погибали, не понятые, непризнанные, невостребованные... Эти люди постоянно тянулись к нам, к БОМ-Пу, к теплу дружбы, к сочувствию, просто, к обыденной радости общения, которого им всегда не хватало. Именно им, а не нам, бомповцам должен был бы "по праву" принадлежать лозунг "Мы не от старости умрём..."

В Бузулуке у меня было несколько таких друзей и знакомых, которые в той или иной степени занимались и поэтическим творчеством. С бомповцами они общались лишь в пределах нашего дома, внимательно наблюдая за нами и нашей литературной деятельностью.



Одним из таких друзей был Валентин Измайлов, режиссер местного народного театра. Он был заметно старше нас, а прибился к нам, в общем-то, совершенно случайно, кажется где-то в клубе во время организации поэтического вечера. Это был гордый, деликатный, всегда несколько отстранённый, бесконечно одинокий человек.

У русских людей встречается такое: патологическое неизлечимое одиночество. Актёр, режиссер, он хорошо

пел, прекрасно декламировал. Нам всем он буквально открыл Лермонтова, которого знал всего наизусть. Особенно замечательно он читал юношеские октавы Лермонтова "1831-го июня 11 дня":

*Моя душа, я помню, с детских лет
Чудесного искала...*

Чтение, хотя и профессионально-актерское, было настолько искренним, что видно было, как созвучны эти стихи самому исполнителю, его внутреннему состоянию, душе его, а возможно и некоторым личным предчувствиям:

*Я предузнал мой жребий, мой конец,
И грусти ранняя на мне печать...*

Его собственные стихи не отличались самостоятельностью, но даже под заемной образностью в них ощущалась глубоко личная печаль и мечта о неосуществимом:

*Гнетёт, томит тоска меня
В часы отчаянья слепого.
Хочу домашнего огня,
Уюта, ласкового слова...*

Это стихи из большого его произведения "Грёзы", 1972 года, которые перед смертью он прислал моей сестре. Там были еще и такие строки:

*Растаял вымысел, и я
Сижусь один в пустой квартире,
И нет, любимая, тебя,
Хотя мы рядом в этом мире...*

С Валентином Измайловым был связан и мой первый и последний театральный опыт. Он ставил "Бесприданницу" в клубе железнодорожников и неожиданно предложил мне сыграть Карандышева. Трудно сказать, зачем я согласился, да и всем было очевидно, что все это обречено на провал. Я не мог быть рабом роли, тем более, такой, и че-

рез десятков репетиций и борьбы с самим собой я напрочь отказался. Карандышева сыграл сам Измайлов, умно, тонко, и было видно, как замечательно он подавляет ролевое карандышевское полуистерическое отчаянье собственным внутренним человеческим достоинством... Это явилось для меня превосходным уроком не просто малоизвестного мне искусства, но еще и приоткрыло некоторые стороны собственных возможностей, вернее, невозможностей.

И ещё... Мне почему-то всегда бесконечно больно вспоминать о Валентине, от немедленно возникающего чувства неиссякаемой вины перед ним и невозвратности всего этого. Вины оттого, что я тоже никогда не принимал его всерьёз, всегда он был для меня чем-то вроде случайности, в которой многое было нелепым и ненужным...

Сейчас я понимаю его и одиночество, и внутреннее затворничество, и многое другое в нём... Но от этого не легче... Умер он в полном отчаянье и тяжелейшей душевной депрессии.

10.

Другим таким городским изгоем была Людмила Горская. Полубездомная, она постоянно жила у каких-то сер-



добольных старушек, а иногда на месяц, на два поселялась и у нас. Наше пианино в то время не смолкало, т.к. Горская постоянно что-то разучивала, обычно Бетховена или Чайковского, но чаще всего Шопена. Она была наполовину полькой, и Шопен для неё был больше, чем музыка...

Писала она и стихи, но почти вся её поэзия за редким исключением, была, собственно, иллюстрациями её музыкальных привязанностей. Стихи у неё были гимназически правильные, хорошо темпированные и законченные, т.к. и здесь она

тяготела к хорошо проверенным классическим формам.

У меня сохранились стихи Л.Горской с таким посвящением:

Дорогому названому брату с пожеланием успехов в искренней поэтической исповеди о нашем общем Учителе! Целую, Люда. 67 г.

Александр Пушкин

*С безмерной любовью и нежностью девичьей
Признательна я Александру Сергеевичу:
Он учит меня терпеливо секретам
Труда, вдохновенья, таланта поэта.*

*Мне с Пушкиным радостней праздников будни!
В работе над словом и чуткой, и трудной,
И в форме стиха, схожей с рамкою узкой,
Звучит дорогой нам с младенчества - русский.*

*Так, в счастье и горести полно, красиво,
Что вправе завидует вечно России
В эпоху засилья Свободы и Света
Такого, как Пушкин, родившей поэта!*

Чувство музыки у неё было острым и осязаемо-конкретным, - помню, что об известном вальсе соль-бемоль-мажор Шопена, она говорила, что эта музыка о ней, о её несостоявшейся судьбе. Фактура этого вальса, кружевная, изящная, девически игривая, как-то не вязалась с обликом Горской, внешне всегда мрачно-сосредоточенной, монашески старообразной, одетой во что-то серое или чёрное, - и лишь позже я понял, что никто из нас никогда толком её и не знал, не догадываясь о её истинном внутреннем самоощущении, так контрастировавшем с её обликом и нищенской жизнью вечной приживалки...

Нас, бомповцев, она музыкально просвещала, устраивая порою целые фортепьянные концерты. А иногда с Валентином Измайловым, который прекрасно пел, они организовывали нам "романсовый ликбез", причём мы так пристрастились к этому, что даже устроили как-то конкурс на сочинение слов к известному "Пятому романсу" Чайковского, который Горская играла особенно часто и вдохновенно.

В лито её никогда не воспринимали всерьёз, вечно от неё отмахивались, чаще, просто, нескрываясь третировали. И как же все были удивлены, когда она получила премию Польской республики за стихотворение "Сердце Шопена", удивились, но совершенно не изменили к ней отношения. Для престарелых шелкопёров и сексотов это было немыслимо.

Погибла она, задохнувшись на пожаре, о чём я узнал уже живя далеко от Бузулука. Смерть Горской не была неожиданной, но меня она потрясла своей как бы предначертанностью, - и я долго не мог собраться, чтобы посвятить ей нечто вроде прощального реквиема-прощения, ибо перед ней, как и перед Валентином Измайловым, я всегда ощущал непреходящую боль и вину за их необустроенные мучительные судьбы, хотя я сам временами жил едва ли лучше их.

*...Вот уходит, уходит сквозь снежные игры,
В белых игрищах ветра туманится след,
Словно Пятый романс до беззвучья заигран,
Этот след ее снежный запет и отпет...*

*Только музыкой тихой об этом пристало б,
О душе одинокой, сгоревшей в снегах,
Распылённой на всех миллионом кристаллов
В холодеющий тлен, в полыхающий прах.*

Вместо заключения

Вот и опять вспомнился один из грустных зимних вечеров начала 1968 года, последнего моего года в Бузулуке.

БОМПа давно уже не существовало и всех друзей моих разметало по свету. Постепенно опустынилась и обесмыслилась и жизнь в этом городе, становящемся всё более негостеприимным, мрачным и унылым...

За окном мороз, темно, со станции доносятся грустные лебединые клики "лебедянок", последних стальных кораблей великой некогда российской паровозной армады, где-то лают собаки, повизгивают в сухом снегу шаги редких прохожих, - но в нашем доме на 22 линии светло, уютно, натоплены печки, мама на своей кровати у голландки, поводя незрячими глазами и потирая парализованную руку, слушает радио...

А я по привычке что-то пишу, не зная ещё, что пишу свои последние стихотворения здесь, в Бузулуке, стихи, которые могли бы стать вообще последними в жизни, т.к. я на много-много лет вообще заброшу не только поэзию, но и саму мысль о какой-либо литературе...

Чудом у меня сохранился тетрадный листок, исписанный этими набросками:

*...Ночь и темь, город нем от мороза,
Каждый звук, как испуг, сразу вдруг,
Как далёкий гудок паровоза,
Замыкающий времени круг.*

*Что-то жизнь мне не то рассказала,
Заманила и стала иной, -
И безумные клики вокзала,
Как кликуши стоят надо мной ...*

Написано это было нервно, с массой исправлений и вставок, много раз перечёркнуто. Рядом бегло было на-

брошено другое развитие той же темы:

*...Город спит и дымом дышат
Крыши запорбленные.
Снег лежит на этих крышах
Белый, как мороженое.
Тёмных улиц коридоры,
Сумрак некончающийся:
Ах, мой ящичек Пандоры
Самозакрывающийся...*

Да, всё это были стихи отчаянья, стихи обманувшейся и обманутой молодости.

Наверное, именно тогда я и решил уехать из этого города, ставшего воистину чёрным ящиком Пандоры... Да и дом наш стал тесноват от добавившихся ссмей сестры и брата, - жизнь уже сама паковала чемоданы...

Она и впрямь давно звала куда-то, может быть, просто, вон и прочь от этой мерзостной тоски, от страшного гнёта одиночества, от глума пожирающей чужую молодость всей этой провинциальной геронтократии⁵, где никто никогда не поймёт, что отчаянная клятва рядом живущей юности - МЫ НЕ ОТ СТАРОСТИ УМРЁМ! - это, в конце концов, страшный упрёк прежде всего им, их времени, которое по наследству стало навсегда и нашим...

⁵ Геронтократия - (биолог.) стариковластие, самоубийственный фактор природы, засилье умирающих видов. Характерно и для человеческих сообществ.

ДОЖДЬ ЗОЛОТОЙ

(лирические эссе)



Иволга

Где-то вдали или в юности где-то,
Там, где живая томится душа,
Иволга тихо окликнула лето,
Май вострепнулся, дождями шурша.

Где это, что это, как не забылось.
Как удалось, затаившись, сберечь
Этих дождей морозящую сырость,
Этой реки хлопотливую речь?

Как удалось не утратить надежду
Вновь и навеки вернуться душой
К дальней тропе, пробредающей между
Явью и снами в пыли золотой? -

К миру, где дождь шелестит, пролетая,
Вереск цветёт, и в тумане речном
В дальней дали, не смолкая, взывая,
Иволга тихо свистит о былом.

"Сердцу нужно убежание..."

Мы начинаемся в детстве и "уточняемся" в ранней юности: в это время и закладывается в нас некая "формула судьбы", предопределяющая всю остальную жизнь. И, в конце концов, молодость руководит и владеет нашим будущим, и никогда наоборот.

К сожалению, всё это вначале бывает плохо различимо: внешний облик моей собственной "формулы судьбы", например, никому не позволял усомниться в том, что никогда ничего путного из меня не выйдет...

Учился я предельно неровно. Военная судьба родителей, полубездомный, а иногда и просто казарменный быт, бесконечно меняемые школы, программы, непрерывная череда всё новых учителей, правил и требований приучили меня равнодушно относиться к школе, а равнодушие, в свою очередь, породило почти физическое отвращение к навязываемым знаниям.

В Бузулуке, где мы, наконец, осели, и где я с горем пополам заканчивал десятилетку, для меня единственным способом сопротивления ненавистным урокам были прогулы, причём я их даже не скрывал, и учителя, а вместе с ними и родители, махнули на меня рукой. Бывало так, что я вставал посреди какого-нибудь тошнотворного урока истории или литературы, которую особенно ненавидел, и спокойно уходил из класса, волоча портфель, набитый, конечно не учебниками, а совершенно посторонними книгами. В соседнем парке клуба железнодорожников, устроившись на скамейке, я до вечера запоем читал какого-нибудь Кеплера или Сенкевича, тут же иллюстрируя прочитанное в маленьком альбомчике, с которым не расставался...

Эти бузулукские убегания в парк я и до сих пор вспоминаю с чувством некоего даже благоговения. Мгновения свободы с альбомом и любимыми книжками в руках определили для меня на многие годы не только сопротивлен-

ческий заряд всему диктуемому и навязываемому, но и простейший способ борьбы с ним: отстранение... Позже я с удовольствием прочту у Пушкина нечто подобное:

*Подите прочь, какое дело
Поэту вольному до вас...*

Конечно же, в то время я не был поэтом, и не предполагал даже, что литература станет когда-нибудь моей профессией, а поэзия - главным событием жизни, - но сходная поведенческая формула уже тогда довлела надо мной, причём со временем я научился отстраняться даже и не уходя никуда, внутренне...

Труднее было восставать и сопротивляться навязываемым знаниям, стереотип и регламентация которых бесили уже одним тем, что сами эти стереотипы то и дело менялись на противоположные, а ныне сменились едва ли не полностью.

И стоило ли в школе писать когда-то сочинение на какую-либо надуманную тему типа "Образ лишнего человека в русской литературе", когда всё протестовало в душе против такого определения Печорина или Онегина, являвшимися, в сущности, прототипами создавших их гениев, а "лишними" они оказались в головах придумавших этот стереотип критиков-разночинцев, которые беспрерывно, с садистскими замашками прозекторов копошились во чреве русской литературы ещё задолго до косноязычных русофобов нынешнего т. н. "Пен-клуба"?

...Иногда я на велосипеде уезжал на речку. Там, вблизи впадения Бузулука в Самару в ту пору были большие огороды, которые охранял одноногий, коричневый, весь в синих наколках бывалый мужик, ловко и быстро прыгающий, почти летающий между грядок на двух огромных берёзовых костылях. Жил он в землянке, выходящей дощатой, всегда открытой дверцей прямо на реку...

Мы с ним как-то быстро сошлись...

Обычно я привозил ему пачку чая, и он заваривал в кружке густой чифир, который тут же выпивал мелкими глотками вприкуску с вяленой рыбой. Был он всегда накалён, нервен, возбуждён, руки его, с поразившими меня вначале наколками "они устали" тряслись и дёргались, но после чифира он постепенно отходил, расслаблялся, закуривал и начинал рассказывать бесконечные тюремные истории, открывая для меня какой-то таинственный и неведомый мир блатных, воров, бандитов, лагерей, зон, пересылок и пр. Я впервые и воочию убедился, как много скрытого и непонятого таится в этой жизни, которая всегда что-то прячет, словно стыдясь себя...

От него я впервые услышал тюремные и лагерные песни, где пелось всё об одном и том же: этапах, конвое, Воркуте и Магадане, побегах и т. д. Без конца он рассказывал и романтично-наивные истории о знаменитых ворах-в-законе, о Соньке-Золотая ручка, о великом самарском воре Витутасе...

От него же я узнал и лагерную легенду о таинственном неопознанном стукаче, который был кошмаром блатного лагерного мира России, за которым беспрерывно охотились по всем тюрьмам и зонам, причём, воры обещали за его голову огромные деньги, - но он был неуловим... Кличка его была Сука-из-Бузулука...

- Сука-из-Бузулука, - с какой-то таинственной мечтательной гордостью повторял коричневым от чифира мой случайный огородный друг, словно бы намекая, что он ещё что-то знает об этом, но больше ничего не скажет... Его сплошные синие наколки в это время даже как-то переливались от возбуждения и пота, особенно крупная надпись на предплечье *"не забуду мать родную и отца подлеца"*. Это был абсолютный, как сейчас говорят, символ послевоенного, обречённого на безотцовщину поколения, но тогда я этого, конечно, не понимал...

Осенью он куда-то исчез, и весь год, учась уже в десятом классе, я постоянно рисовал на уроках какие-то композиции из услышанного летом, кинжалы, кастеты, колючую проволоку, обвившую кровоточащее сердце, и прочую тюремно-блатную символику, чем страшно радовал учителей, которые как раз и прочили мне всё это...

Дома же на нашем прекрасном пианино Ed. Seiler, привезённом из Германии, я быстро собрал попури из услышанных блатных песен, слегка упорядочил интерлюдии, и частенько наигрывал его в разных вариациях... Колорит и сам строй этих полуподпольных песен был неуловимо похож на вполне легальные и популярные мелодии, звучавшие в то время и по радио, и на танцплощадках города. Я тогда не знал, что это птицы, в общем-то, одного гнезда, - все они выкормыши одной и той же одесско-арбатской подворотни, одной и той же недокультуры, которая через сорок лет, вырвавшись на пространства вседозволенности, заполнит собою и экран и эфир... Как раз об этом написал Ал. Межиров, "последний советский классик", уезжая уже в 90-х годах в Америку:

*Предали прекрасную Элладу,
Мраморную продали страну...
Розенбаум вышел на эстраду,
Натянул последнюю струну.¹⁵*

...Однажды, особенно увлечшись игрой, я поймал на себе удивлённый, пристальный взгляд отца и закрыл пианино. Внезапно и со стороны я вдруг услышал и различил непроходимую пошлость и бездарность того, что мне поначалу показалось даже и романтичным...

- Они устали, - злясь на себя, буркнул я ещё более удивлённому отцу, показывая руки.

Больше этого я никогда не играл...

¹⁵ Стихотворение из цикла "Бормотуха", вошедшее в одноименный сборник поэта.

Близилась выпускные экзамены и приходилось, скрепя сердце, садиться за ненавистные учебники, чтобы *"не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы"*, как глубокомысленно предупредил нас классный руководитель. Меня едва не вывернуло от этой банальщины, которую мы когда-то учили наизусть, - да, заучивали кусками эти убогие сентенции комсомольского шизофанатика, прославившего едва ли не великим писателем...

В то время подобные окаменелые фразы и формулы преследовали и настигали всюду, и в классе, и в коридоре школы, и на улице. *"Учиться, учиться и учиться!"* - вызывал плакатом парадный фронтон школы, и мне так хотелось написать на этом фронте - *"Не забуду мать родную и отца подлеца!"*...

И вновь приходила почти кошунственная мысль, да так ли необходима такая учёба, если она изначально отворачивала, просто, уже одной своей лживостью, ханжеством, безапелляционностью? Так ли нужно каждому из нас знать, что Максим Горький был родоначальником пролетарской литературы (а был ли?) или, что Земля - шар, вращающийся вокруг Солнца (а шар ли?), и что социализм был величайшим событием современности (не тот ли, что вокруг?) и т. д.

Нет, в то время мои размышления, конечно же, были облечены в иную, ещё рефлексивную форму, хотя и тогда я уже прекрасно понимал противоречивость, необязательность и пустопорожность почти половины того, что говорили преподаватели, вычерчивая на доске мёртвые геометрические схемы, в то время, как за окном сияла и плескалась в ранневесеннем солнце совсем иная жизнь...

А ведь и впрямь, даже и умозрительная алгебра или геометрия пространства абсолютно противоречит ежедневной эмпирике человека, который каждой клеткой своего существа ощущает, что не Земля вращается вокруг Солнца, а Солнце всходит и заходит над Землёй, что не

осевое движение Земли создаёт иллюзию кругового перемещения созвездий, но сам небосвод свершает еженощно таинственный вращательный ритуал вокруг Полярной звезды. И ничего с этим поделать нельзя: мы видим, чувствуем, а значит и понимаем именно это, а всё остальное - умозрительно и отдаленно. Нужен был какой-то иной способ восприятия и воссоздания сущего, но какой?..

Так, или, примерно так, я размышлял в то время, и всё яснее становилось, что помещать свою судьбу во всё это - бессмысленно и разрушительно, но выбор тогда ещё только назревал...

Иногда я часами простаивал на пешеходном мосту над бузулукской станцией, мимо которой пролетали среднеазиатские поезда. Колёса чётко и иронично выстукивали на стрелках "бузулук-бузулук-бузулук", и этот трёхстопный анапест улетающих куда-то поездов, ставший впоследствии для меня главной мелодией моего родного города, был живым, собеседующим, зовущим. С этого моста хорошо различались мелкие улочки, сбегающие к самарской пойме, далёкие низкие холмы Сухореченских гор, сады, элеватор, релейная вышка, и дальние степные горизонты, всегда в какой-то бледной дымке, размывающей границу между небом и землёй, и город исчезал в ней, сливаясь с пространством. Где-то там, в одном из домишек прятался от всего мира неуловимый Сука-из-Бузулука, на танцплощадках звенели полублатные "Ландыши" и "Мишка", мучались в школах дети, гудели два ржавых натруженных заводика, выполняя пятилетние планы, *шло время нашей жизни...*

И я не знал, конечно, что в этом городе я проживу ещё почти двенадцать лет и буду порой даже счастлив в нём, когда придут первые стихи, первая любовь, а многое станет по-настоящему дорогим и незабвенным, но только и благодаря именно прямому ощущению сердца, ибо *мы счастливы только восчувствованием и никогда - умозрением.*

И регламентированная школа, и железный регламент армии, а затем и завода, где пришлось много лет работать, и ползучий коварный регламент литературного бытия, в котором я пребываю и до сих пор, и многое другое вокруг, слава Богу, не убили до конца это живое восчувствование родного...

Но на всякий случай, когда становилось совсем плохо, всегда оставалась ещё и тайна, куда, лишь переступив порог, можно было уйти, убежать душой, чтобы немедленно оказаться защищённым от всех невзгод мира.

Да, за этим порогом родного дома - несколько мгновений ранней бузулукской юности моей, запечатленных навечно. Это - свежее и лёгкое просыпание под шум дождя за окном, когда уютная тёплая постель так ласкова, что вставать не хотелось. И никто и не поднимал, не торопил, ещё не надо было быть чему-то подчинённым или обязанным... Рядом на кухне, потрескивая и гудя, топилась печь, на которой готовилось что-то необыкновенно ароматное и вкусное. В соседней комнате двумя разными, но бесконечно родными голосами легко и весело переговаривались отец с матерью, которые ещё были живы и не стары ещё, - и всё шелестел дождь за окном, весенний или осенний, в ногах мурлыкал котёнок, а рядом на сундучке лежала вчерашняя начатая книжка, суля радость и тайну прочтения, и время никуда ещё не торопилось, его просто не было... Были навеки остановленные мгновения полной гармонии, которые и можно было бы назвать счастьем, если бы его вообще было нужно называть...

*Сердцу нужно убежанье от сухой тоски земной
К отдаленной детской тайне, позабытой, но родной, -*

*Где совсем не по погоде длятся лето и весна,
Солнце всходит и заходит, жизнь прекрасна и ясна, -*

*Где не нужно знать о муке настигающих расплат,
Где родительские руки и любви щадящий сад, -*

*Где, легко дыша во мраке, вечно молятся в тиши
Птицы, звезды и собаки о продлении души...*

*Не мудрей, не спи, не старься, не устань хранить его
Это царство-благодарство возвращенья своего.*

*Различи в напominаньях его оклик, его весть, -
Если есть тоска по тайне, значит, тайна тоже есть, -*

*Тайна дальнего порога, где томится золотой
Неопознанного Бога понимающий покой.*

"Облак трубообразен..."

"И когда Он снял шестую печать... произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь". Откр. 6:12

Наш бузулукский дом был куплен моими родителями в посёлке Искра недалеко от гсрода, и перевезён в Бузулук на 22 линию в 1956 году. Замечательный деревянный сруб, сделанный из мощного соснового бруса, был на редкость прочен и ладен, и дом из него получился тёплый, сухой, вместительный. Таких однотипных домов в Искре было несколько, их срочно построили в одно лето военные строители для вынужденных переселенцев из деревень, расположенных рядом с известным Тощким полигоном, где в 1954 году шла подготовка к каким-то невиданным и засекреченным военным учениям.

Спустя полтора или два года после учений переселенцам разрешили вернуться на родные места, и они стали быстро и довольно дёшево распродавать дома.

В то время мы, в общем, толком и не знали, чему или кому мы были обязаны удачным приобретением доброт-

ного дома, не знали и о событиях, предшествовавших всему этому, да, собственно, всё это нас в то время совершенно не интересовало. Наш новопостроенный прекрасный, светлый, уютный дом, плывший голубым ковчегом посреди великолепного вишнёвого сада, совершенно ослепительного во время цветения, стал на долгие годы нашим гнездом и обителью, а потом и вечным символом короткого, но незабвенного семейного единения, почти счастья...

(Кстати, позже, став профессиональным литератором, я написал несколько стихотворений о доме нашей молодости, но всякий раз мне казалось, что чего-то я не дописал, не дорассказал, - это, наверное, так и бывает, когда внутренний символ, определяющий самое важное, самое дорогое в жизни, не убывает с написанным, а становится ещё дороже, а оттого - невыразимее в слове.)

Наш отец не участвовал в строительстве дома, он дослуживал свой последний предпенсионный год в Германии, а демобилизовавшись и приехав к нам в Бузулук, стал вместе с нами привыкать к новой, неведомой для него жизни провинциального обывателя и домохозяина.

Энергичный, всегда по-военному собранный, он мгновенно обошёл весь город, изучил его окрестности и быстро обзавёлся друзьями, такими же офицерами-отставниками, с которыми он постоянно ездил на рыбалку, чаще в район Погромного и Тоцкого, где под прикормку хорошо ловился крупный подуст, а вдобавок на нахлыст - великолепный самарский голавль...

Опытнейший военный врач, окончивший две военномедицинские академии, прошедший специальный закрытый курс по радиологии, отец, конечно же, быстро разобрался в ситуации с т.н. Тоцкими учениями и, поразмыслив, запретил нам пить воду из колодца на ул. Культуры и посоветовал не таскать пыль в дом, особенно при восточном ветре, в общем-то, не объясняя, почему: военная вышколенность и опыт века приучили его к немногословию...

Однако, земля слухом полнится, и, конечно же что-то о Тоцких событиях мы знали из разговоров с очевидцами этого. Рассказывали, что во время учений на горизонте возникла яркая вспышка, а потом появилось огромное, *похожее на расширяющуюся трубу облако*, которое постепенно рассеялось ветром. Понятия *"грибообразное облако"* тогда не было, но из разговоров становилось ясно, что в Тоцком был произведён ядерный взрыв.

...В Бузулуке мы прожили почти 15 лет, а когда умерли родители и был продан незабвенный дом наш с вишнёвым садом, постепенно, отдельными стаями, разлетелась и наша общая семья.

Шли годы, и мы, в пространстве всё большего отдаления от родного, как это и водится, всё чаще вспоминали и наше семейное гнездо, и наши старые привычки, наш прежний быт и уклад.

А в неспешной многолетней переписке с друзьями, оставшимися на родине, я постепенно узнал и тайну Тоцких учений, и загадку появления нашего дома. Письма друзей и вырезки из газет со сведениями о Тоцких событиях я собирал в отдельную папку, и мне казалось, что со временем информация накопилась значительная, тем более в последние годы обо всём этом стали писать совершенно открыто, однако вся она уместилась в несколько кратких и мёртвых строк, именно мёртвых, т. к. совершенно не укладывалась ни в сознание, ни в живую душу.

"14 сентября 1954 года в 9 часов 33 минуты по московскому времени в Оренбургской области на Тоцком полигоне под Бузулуком в ходе общевойсковых учений был произведён открытый ядерный взрыв, превышающий своей мощностью взрывы ядерных бомб, сброшенных американцами на Хиросиму и Нагасаки. В учениях принимало участие около 50 тысяч солдат, которые сидели в это время в окопах и в зарытой в землю военной технике.

Ядерная бомба была сброшена с самолёта с двух заходов. Первый заход был не точен, штурман вывел бомбардировщик на Бузулук, и учение едва не закончилось гибелью этого небольшого райцентра, насчитывавшего тогда 45 тысяч жителей¹⁶.

Спустя несколько часов после взрыва солдат на машинах подвезли к реке Самаре, где они тщательно смыли с себя пыль и вычистили обувь и одежду.

Все войска, принимавшие участие в учении, постепенно развезли по местам своей прежней дислокации, предварительно взяв с каждого участника расписку о неразглашении тайны.

Генеральным штабом учение было признано успешным, а войска готовыми к ведению боевых действий в условиях ядерной войны."

В общем, это и всё...

Да, наш прекрасный уютный деревянный дом в маленьком городке посреди родной земли, плыл со своим цветущим садом сквозь пространство и время, совершенно не ведая о том, что он и сам был косвенным порождением грандиозного по безумию замысла людей устроить себе Конец света...

В миновавшем, самом долгом и тяжком веке планеты такое могло случиться как минимум три или четыре раза во времена т.н. "политических кризисов", из которых наиболее известен Карибский. Несколько десятков тысяч ядерных боезарядов, приготовленных людьми для людей, безусловно вызвали бы на планете непоправимую катастрофу. "Специалисты" холодно просчитали и от моделировали на компьютерах последствия ядерной войны, которые выглядят ужасающе. После спонтанного всепланетного пожара с выгоранием всего горящего, вплоть до почвы,

¹⁶ Это информация из одной частной переписки, пресса же последних лет сообщала лишь о полуторачасовой задержке начала учений и о двух заходах бомбардировщиков на бомбометание.

над землёй на много десятилетий должна нависнуть пепельно-пылевая непроницаемая облачная мгла, которая вызвала бы фантом т.н. "ядерной зимы", усугубленный дефицитом кислорода и смертельной радиацией, добивающей последние остатки живого...

И всё это могло произойти буквально вчера...

Мы как-то и не ведали об этом, вернее, что-то знали из методичек по гражданской обороне, из редких и скудных сообщений о тех или иных испытаниях всё более нового и изощрённого ядерного оружия, но всерьёз всё это не воспринимали.

Удивительно, но наши историки, философы, социологи, медики, психологи никогда не пытались проанализировать фантом этого *всеобщего сумасшествия*, рассмотреть сдвинутые этические нормы современного человека, совершенно потерявшего контроль над тем, *что он делает*. Характерна здесь фигура академика Андрея Сахарова, одного из создателей водородного оружия, косноязычного и малокультурного образованщика, ставшего почему-то прежде всего неким "правозащитником", который толком так и не смог понять истинный смысл творимого... Почему он не застрелился после первого водородного взрыва, как это сделал другой академик, когда взорвался Чернобыль?..

Об ужасе самоуничтожения, нависшем над нашими головами, мы начали догадываться довольно поздно, м. б. после того, как где-то в "Иностранке" в самом конце 70-х появился роман французского писателя Робера Мерля "Мальвиль", описывающий жизнь горстки людей, уцелевших после ядерного кошмара, и решивших начать заново путь человеческой цивилизации... Ещё большим откровением стал американский фильм "На следующий день", который неожиданно был показан в России где-то в начале 80-х: мы впервые воочию увидели возможную ядерную войну и её последствия, агонию планеты, которую уничтожило её родное чадо под названием *Homo sapiens*...

Но наша трусливая литература советского периода беспробудно молчала перед очевидной надвигающейся бедой, как будто за её спиной не было всечеловеческой совестливости Пушкина, Достоевского, Толстого, не было великих христианских философов и просветителей. Она склочничала, проводила съезды и пленумы, дралась за секретарские должности, пьянствовала в домах творчества, бесконечно издавала "Мойдодыра" и "Дядю Стёпу", звала народ на целину, в Нечерноземье и ещё куда-то, иногда грязно диссидентствовала, и тогда становилась вообще отвратительной в своём двойном обличье, - и медленно деградировала до болотного уровня песенок Окуджавы...

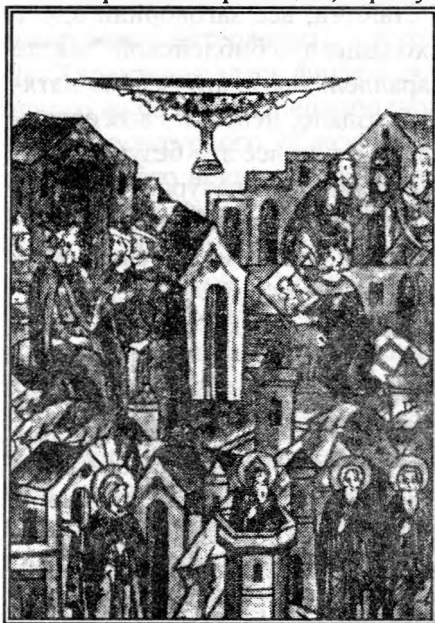
И лишь когда взорвался четвёртый (*чётный, а значит, заведомо опасный по русскому счётному обряду!*) ядерный энергоблок Чернобыльской станции, все заговорили вдруг об апокалиптичности происходящего, о библейской "звезде Полынь" и пр., и хотя эта параллель выглядит весьма натянуто, однако здесь, пусть и запоздало, невольно возговорила сама народная память о том, о чём все эти безумные годы молчала выхолощенная советская литература

Да, о назревающем Апокалипсисе вспомнил сам народ, глубинный опыт которого, вдруг разом осознал *беспредельный грех человечества, перешагнувшего через тысячелетний запрет надбожественного манипулирования неведомым...*

В русской культуре, за много веков до ядерного всепланетного психоза, можно найти почти конкретные предостережения от гордыни и безумной самонадеянности одиночек-богоборцев. Национальная память огромна и многогранна, а нелёгкий опыт сотен поколений сохранил поистине поразительные сведения. Достаточно вспомнить древнейшую славянскую клятву, которая упоминается в договорах Руси с греками, клятву, где говорится, *что нарушивший определённые запреты и обязанности пред Богом, будет поражён собственным же оружием!..*

Великое "Слово о полку Игореве", кстати до сих пор толком не прочитанное, профанированное и низведённое всё теми же образованщиками типа академика Лихачёва до мелкого средневекового эпоса, нешуточно предостерегало от поспешных и непродуманных "подвигов" одиночек, забывших, что допреж нужно прислушаться к опыту предков, ибо, когда *"солнце тьмою путь заступает"*, то следует немедленно остановиться и в делах и в деяниях, ибо любой противобожеский поступок грозит обязательной гибелью...

Совсем недавно, перечитывая древние иллюстрированные русские хронографы, я обнаружил одну миниатюру, которая меня буквально потрясла. На ней в своеобразной обратной проекции, присущей русскому иконописанию, был изображен город, над которым навис таинственный и страшный *"Облак трубообразен"*, на который воззрелся иконописец.



Он, видимо пытался каким-то образом запечатлеть увиденное, но был тут же наказан: *"и абие рука его уше"*, т. е. у него немедленно отсохла рука, как сообщает летопись¹⁷. Откуда этот опыт, эти удивительные предвиденья наших пращуров, строгое понимание того, что даже изо-

¹⁷ТОДРЛ, XXXVIII, 1985 г. с. 231. Чернецов А.В. Иллюстрации к Шестокрылу и вопрос об отреченных изображениях в Древней Руси.

бражение чего-либо противобожеского, наказуемо? Видимо были какие-то иные способы предчувствия будущего? Как мы смогли и посмели запечатлеть этот бесценный опыт?..

Этот почти фантастический в своей реальной сущности "Облак трубообразен" из древнего русского хронографа и рассказы очевидцев ядерного взрыва в Тоцком, где они наблюдали такое же трубообразное облако смерти, как-то совместились в сознании тяжёлым предчувствием того, что мы, прежде всего, забыли о душе своей всечеловечьей, забыли об иной, подбожественной сути Пути своего, предопределённого когда-то великим знаменем Вифлеемской звезды Надежды...

"Душа хотела б быть звездой..."

Ф. Тютчев

*Когда мечи заменим на орала,
Очистим мир и дух переведем,
Увидим мы, что очередь настала
Неспешно поразмыслить об ином, -
О горестной душе о человечьей,
Ещё вчера в нелепой суете
Метавшейся пред вечностью безвечной,
Как бы в последнем полузабытье, -
О разуме, бессильном перед волей
Почти самоубийственных идей,
О пагубе тотальных суесловий, -
И снова о душе, душе своей, -
Которая над бездной ледяною
Мечтала с обессиленной тоской
Звездой быть, звездой быть, звездой, -
Звездой над измученной землей.*

Дождь золотой

*"Да не вообразим, что видимые
знамена явлены ради самих се-
бя: ведь они являются одеянием
неизреченного и неведомого..."*

Дионисий Ареопагит,
Послание Титу-Иерарху, 4.

Моя последняя осень в Бузулуке была тихой, тёплой, яркой и воистину прощальной. Как-то разом, не опадая, пожелтела листва на клёнах вдоль нашей 22-й линии, и золотой отсвет слабо блуждал на всём: домах, заборах, на притоптанных до лоска тропинках, пересекавших пустырь перед домом, - даже и небо казалось золотистым, - ранне-осеннее просторное оренбургское небо...

Уезжал я в неведомое, толком и не зная, куда и зачем. Просто, тесен стал дом, не заладилось с работой, и надо было что-то делать с собою и судьбой...

Но я всё медлил с отъездом, словно бы предчувствуя, что возврата не будет, всё бродил по улицам, по нашему прекрасному вишнёвому саду, покрывшемуся тоже лёгкой золотой патиной, и всё бормотал какие-то стихи, не зная, что они будут моими последними стихами на родине:

*...Облетает мой сад, облетает,
В грустной дрёме прозрачного сна,
И прощальным огнём зацветает
Золотая его тишина...*

Город опустел для меня ещё в прошлом году, когда стали один за другим разъезжаться друзья, и вдруг, словно бы вмиг, исчезло наше дружное молодое поэтическое братство, которое некогда шумело и бурлило здесь, в этом маленьком, милом, родном захолустье, помогая жить и надеяться, и, хотя бы внутри тесного круга друзей, чувствовать себя свободным, деятельным, талантливым, наконец...

*Так запомни душой утомлённой
То, что станет мечтой и тоской, -
Этот шелест листвы опалённой,
Это золото, этот покой.*

Да, я не знал тогда, что родину навсегда не покидают, а родину стихов - тем более, что она будет всю жизнь потом напоминать о себе ежечасно и неожиданно, разя вдруг, как из засады, в самое сердце случайным встречным ветром, шелестом листвы, запахом тёплой земли...

*Этот родины запах и ветер
Этот сад, этот свет неземной,
Самый лёгкий и тёплый на свете, -
Золотой, золотой, золотой...*

В октябре пошли сплошные дожди, вначале почти ослепляюще выкрасив жёлтые клёны, и три или четыре дня город буквально светился золотым призрачным светом, а затем, когда листва потекла вниз, это золото быстро погасло и деревья обнажённо истончились в тёмные мокрые призраки. Держался только наш сад, вишня вообще крепка листвой, - и, уходя навсегда из родного дома, я обернулся напоследок запечатлеть мерцающий свет нашего сада.

Я уносил с собою это последнее видение родного, да вот эти прощальные стихи, совсем не ведая каким отзвуком, пусть и бесконечно запоздалым, всё это перевоплотится в душе, нам ведь и впрямь *"не дано предугадать, как слово наше отзовётся"*, как сказал Тютчев.

Только спустя тридцать лет, уже в иных краях, в иной жизни, такой непохожей на дни суетливой молодости, в жизни, заполненной другими заботами и делами, в том числе и литературными, перед которыми мои ранние бузулукские пробы казались едва ли не детской шалостью, я вдруг, неожиданно для себя, до мельчайших подробностей вспомнил свою последнюю осень в Бузулуке, и вспомнил, как мне показалось вначале, без всякой причины и повода.

...Такою же примерно порой я прогуливался где-то по пригородному лесопарку, бродя по сырым тропинкам, петляющим между бесконечными озерами какой-то древней старицы, заросшей по берегам камышом и красноватым тальником с куртинами череды и дикой гречихи, и привычно наборматывал себе размер возможного будущего стихотворения, что-то наподобие - *череды пришёл черёд, череды*, впрочем прекрасно зная, что за письменным столом все эти заготовки немедленно забудутся, а перо "само" поведёт туда, куда его направит душа, иногда и в пределы, совершенно не предусмотренные.

Слабый полудождь-полутуман неумоимо сочился сверху сквозь золотые старые осокори, вязы и клёны, и весь лесопарк, густо засыпанный мокрой яркой листвой, дышал холодными испарениями сырой земли, грибным тленом и душно-горчащим запахом опавшей листвы.

Было довольно сумрачно, однако я неожиданно заметил, что повсюду витает какой-то слабый золотистый свет, которого вроде бы и не должно быть. Казалось, светились сами деревья и листва, - свет проистекал даже откуда-то снизу, рефлектируя латунными бликами по мокрой коре старых, костлявых осокорей и клёнов, а зеленовато-бледные стволы осин на пригорке явно отсвечивали бронзой. Да и сам этот мельчайший дождь-туман, там, в глубине полян и прогалин, в самой толще своей, светился изнутри каким-то непонятным светом, а иногда его пронзали словно бы даже лучи, что было странно в совершенно бессолнечном, пасмурном, предвечернем лесу... Видимо сплошная желтизна леса и давала этот фантастический отсвет, но было и ещё нечто необъяснимо-неуловимое в этом почти живом трепещущем золотом сиянье.

- *Дождь золотой Аполлона*, - подумал вдруг я, потрясённый неожиданно вспыхнувшей метафорой, - *всепроницающий свет жизни*... И это, в общем-то, древнее, языческое, ёмкое определение, в сущности, ничего не объяснив,

поставило всё на свои места. Воистину *существует только названное*, - без имени и слова оно пребывает, как вещь в себе, сразу же беззвучно исчезая в бездне, как будто и не бывало. И этот свет неземной так бы и забылся навсегда, если бы не обрёл себе неожиданный символ...

В этих размышлениях я как-то незаметно потерял свою тропинку и шёл уже напрямик сквозь светящийся лес, заросший калиной и жимолостью, и слой сырой рыхлой листвы пружинил под ногами и словно бы слабо вздыхал.

- *Одеяние*, - вспомнил я, - *одеяние неизречённого*, - так называл всепроникающий вечный свет Дионисий Ареопагит, ученик апостола Павла, писаниями которого зачитывался когда-то неистовый протопоп Аввакум, черпая, видимо, в них покой и утишение своей неутолимой страсти...

Да, конечно же, существует нечто независимое от нас, которое всегда рядом и с нами, мы пронизаны этим насквозь, как космическими лучами. И нам только мнится, что мы автономны и самостоятельны, это грешно и не нужно, на самом деле мы целокупны и подбожественны, всё рядом и в нас: и прошлое, и настоящее, где нет числ, просчёта лет и сумм, есть просто Жизнь, свет её золотой несказанный, а остальное - от лукавого...

И вот тут я внезапно и отчётливо вспомнил свою прощальную бузулукскую осень, те ослепительно-золотые дни, которые, как мне представлялось сейчас, и были столь ослепительны, чтобы я запомнил их навсегда. Это было одним из тайных знаков сущего, который я воспринял тогда лишь внешне, но до конца не осознал... Так вот, что вокруг меня: *неисчезающий свет воздаянья*. Эта осень, этот свет неземной воздавали мне не просто память, но наполняли и саму жизнь, делая её беспрерывней, осмысленней, полнее, воздавали щедро и безвозмездно...

Я даже остановился от этого предположения, и незабвенная последняя осень моей юности предстала предо мною в обновлённом и сложном понимании того, что

жизнь не бывает напрасной, каждый её момент - это накопление души, что ничего не забывается, но, лишь видоизменяясь, возвращается рано или поздно, но не для сравнения, а для восполнения, чтобы помочь увидеть мир в нерасторжимом божественном единстве ибо "...никакая жизнь не вне природы или выше её (это тоже Ареопagit) а только внутри неё и вместе с ней..."

И уже вечером, бережно донеся увиденное и прочувствованное до письменного стола, я поставил в стакан золотую веточку клёна, и медленно-медленно, чтобы не спугнуть приоткрывшуюся тайну, написал стихотворение, как никогда ощущая нехватку слов для выражения зыбкого, суггестивного видения почти божественного света, возвратившего мне на мгновение родину, юность, радость...

*Дождь золотой, дождь золотой
Тихо завис над осенней землёю,
Слабо подцвеченный жёлтой листвою,
Светлой лозою, травой луговой.*

*Светится лес и дрожит меж стволов
Самосветящийся свет ниоткуда,
Непостижимо знакомое чудо,
Память далёких, преджизненных снов.*

*Дождь золотой, дождь золотой, -
Светоструенье, течение, мерцанье,
Воспоминанье о всевоздаянье,
Полузабытом земною душой.*

*Так бы и верить в живой этот свет,
Не называя, не зная, не муча
То, что превыше любого созвучья,
То, чему в мире названия нет...*

*Дождь золотой, дождь золотой,
Жаркий в багряном и зябкий в зелёном,
Сеет над тополем, вязом и клёном
Пылью янтарною, мглой неземной.*

Полторы звезды

18 ноября 1999 года по телевизору сообщили, что в два часа ночи к Земле должны прилететь Леониды, метеорный поток из созвездия Льва, выпадающий ярким звёздным дождём с периодичностью в 33 года.

И я вспомнил вдруг эпизод своей юности, связанный как раз с этим редчайшим явлением.

Это было в Бузулуке, где я тогда начинал писать стихи, мечтал о первой книге, и был преисполнен того юношеского романтизма, который особенно легко откликается как раз на подобные неожиданные события.

В такие же холодные ноябрьские дни мы с друзьями-поэтами из местного литобъединения с нетерпением ожидали прилёта Леонидов, надеясь увидеть в небесах нечто наподобие салюта или фейерверка. По крайней мере, так тогда говорили по радио, приводя сведения из средневековых хроник, когда с прилётом этого ярчайшего звёздного потока связывался едва ли не конец света...

Помню и начало плохонького тогдашнего стихотворения, которое я написал загодя, как заготовку к тому зрелищу, которое, как мне казалось, разовьёт и насытит чем-либо необыкновенным его предполагаемое продолжение:

...Кого-то ругаем, глотаем обиды,

Устав, забываемся сном и вином...

А к нам в это время спешат Леониды

Сгореть на рассвете небесным дождём...

Да, эти строчки были написаны ровно 33 года назад в 1966, в середине ноября, когда стояли уже морозы и почти зимнее чистое безлунное небо, расчерченное яркими созвездиями, было готово развернуть перед нами необыкновенное зрелище...

Но... для нас это зрелище не состоялось.

Как это и водится у поэтов, особенно начинающих, с вечера перевозбудившись стихами, спорами, и обязательным в таких случаях обильным застольем, мы потихоньку разбрелись по диванам, чтобы слегка вздремнуть, да так все и проспали до утра...

Начатое загодя стихотворение я так и не закончил т.к. ни тогда, ни сейчас совершенно не мог писать стихи нарочитого, придуманного или декоративного стиля, не связанные с каким-либо собственным глубоким переживанием...

Да и что в этом особенного, - успокаивал я себя... - Ну, Леониды, ну, периодический поток мелкой метеоритной пыли, остаток хвоста какой-то древней истлевшей кометы... Вот если бы меня звали Львом (Леониды названы по созвездию Льва, где находится радиант потока), тогда хотя бы можно было в стихах использовать это соответствие, попутно обыграв между строк распространённое поверье загадывания желаний на падающую звезду...

В то время я часто досадовал на неумение писать «по теме и заданию», писать вовремя то, что "нужно", т. е. жить по правилу «хороша ложка к обеду»... Никогда не маячил стихами в юбилейных или «датских» (под какую-либо дату) подборках, не успевал вовремя сделать «нужную» книгу, перевести «нужного» поэта к «нужному» времени и пр...

Сейчас я прекрасно вижу, что как раз это «неумение» и спасло меня от унижительного рабства перед случаем... Избежав насилия «обязательности», я получил взамен некое подобие свободы духа, а, если выразиться попроще, - отсутствие литературной подёнщины и регулярного строчкогонства сохранило радость, которая всегда сопутствует творчеству именно свободному, не озабоченному сиюминутным и внешним.

Впрочем, может быть, это, просто, самоутешение...

Итак, спустя, страшно сказать, треть века, вновь и опять, именно сегодня, в ночь с 18 на 19 ноября 1999 года,

последний раз в моей жизни в небе должен вновь появиться таинственный звёздный поток Леониды, и я мог бы его спокойно наблюдать, не выходя из квартиры, т. к. окно моего кабинета выходило на открытое пространство небес, простирающееся над древним новгородским кремлём, называемым здесь Детинцем, над величавым, начинающим замерзать Волховом, над светящейся набережной в кружевах заиндевеливших старых лип...

Но я не собирался смотреть это зрелище: завтра телевизор всё покажет, мало того, с наилучшей точки обзора, подробно и обстоятельно расскажет обо всём, да ещё и пригласит какого-нибудь премудрого академика, а то и двух, поразмышлять над увиденным...

И стихотворение на эту "тему" я писать уже не буду, но теперь по другой причине... Моя судьба поэта, пусть небольшая, состоялась, все книги, которые я должен был написать, написаны. А вся та романтика, вернее, поверхностная восторженность по поводу непонятого или непонятно, которая так когда-то будоражила молодую душу, давно перевоплотилась в иные восчувствования, и теперь волновали (если ещё волновали) уже совсем иные и музыка, и краски жизни... Тем более, перевоплотиться даже на мгновение в любопытствующего зеваку, поглощающего неведомое зрелище, а потом сесть и написать об этом стишочек, - всё это претило и отвращало уже одним ощущением пошлости всего этого...

Я с удовольствием зевнул, и пошёл спать.

...А ночью вдруг проснулся, разбуженный какой-то непонятной тревогой.

Был уже пятый час, глухое предутреннее время...

Я встал, раздвинул портьеры, и всмотрелся в серое мглистое небо над Софией. Ни звезды, ни блёстки... Тяжёлый льдистый Волхов посверкивал ломанными свежими торосами, и только две длинных чёрных полыньи маслянисто поблескивали под зубчатой стеной Детинца. Держа-

винская Река времён, эта почти античная *Cursus temporis*, даже полускованная льдом, продолжала своё неустанное мощное движение в вечность и ночную бездну...

Немного погода мгла слегка развеялась и проглянули две или три стоячих звёздочки на западе... Но никакого метеорного потока не было, ни единой падающей звезды... Я проспал пик Леонидов...

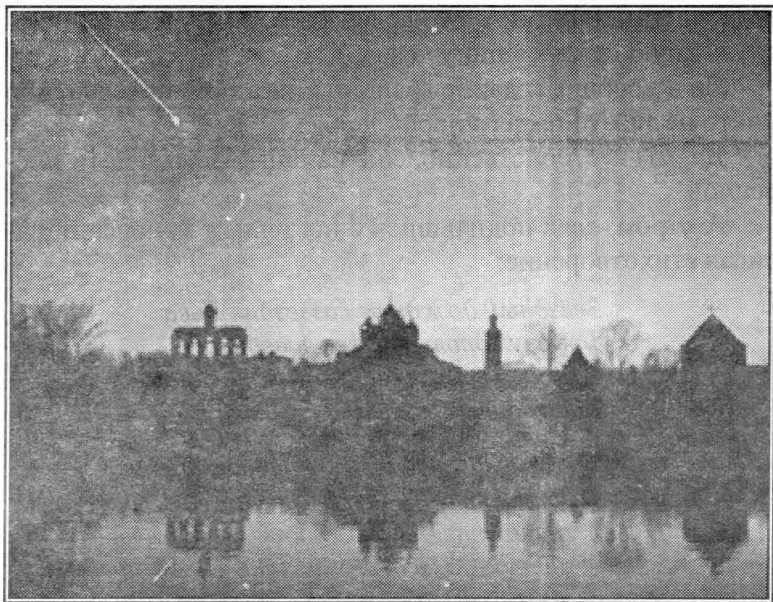
Но почему же я проснулся? Неужели я втайне всё же хотел увидеть падающие звёзды, ощутить это дуновение вечности, космоса, неизведанного? А может быть меня подняли с постели и привлекли к окну те, почти забытые юношеские мечты и загады о собственном будущем, вот, почти уже сбывшемся, но совсем не так, и не в той степени, как мечталось и мнилось?..

И стоя у холодного окна, разворачивающего предо мною ещё и пространство невидимого, но явственно ощутимого времени, я понял с грустью, что нельзя быть умнее души, нельзя забывать, обирать и обкрадывать молодость, нельзя отказываться от её желаний и мечтаний, внутренней тлеющей тоски по Божественному и неведомому, ибо старость и умирание - это как раз и есть вот это костенеющее мудрствующее равнодушие к сущему, посетившее меня вчера вечером...

И я вдруг остро почувствовал, уже без внутреннего смущения, что, да, мне смертельно необходимо увидеть хотя бы одну падающую звёздочку, а лучше – три. У меня есть, вернее, ещё остались три страстных желания, я загадал их давно и столь же давно понял, что они не исполнимы, но вдруг... Да, ночью сердце становится чище, яснее, наверное, во тьме и одиночестве оно ближе к Богу, а потому во много раз восприимчивей, откровеннее и беспощаднее к себе...

Но звёзды не падали. Всё также мутилось какое-то нехорошее небо, величественно и отстранённо темнела прекрасная София, мерцающая золотым куполом, под фонарями

белел выпавший вчера снег, а всё те же две зеркально-неподвижных полыньи на Волхове отражали только чёрное небо да слабый свет набережных...



Я засмотрелся на полынью и вдруг увидел, как что-то в ней сверкнуло, не сразу поняв, что это было отражение упавшей и мгновенно сгоревшей звёздочки...

Я немедленно воззрился на небо, глядя вверх, в южный угол окна, и сразу же увидел ещё одну, косо скользящую по мутному небу крохотную искорку, которая тут же исчезла...

Потом я почти час смотрел в окно, пока не заболела шея и не зарябило в глазах... Но звёзд больше не было...

Вздохнув, я отправился досыпать, имея для завершения судьбы одну звезду и отражение другой...

Прощайте навек, Леониды. Ещё 33 лет мне не прожить, да и трёх, наверное, тоже... Но *полторы* звезды мне

Бог послал, и что-то должно произойти ещё на прощанье, на одно с половиной тайных желаний моей грешной души...

А, засыпая, я уловил в себе ещё и ощущение лукавой греховности, наверное, от несдержанной надежды на незаслуженную «дармовщину» свыше...

Да и вообще, гадание грешно, а загад сомнителен, ибо никто не знает Божьего провиденья...

Да, мы все, собственно, ещё наивные дети... Дети Вселенной ...

А утром, едва поднявшись с постели, я мгновенно написал стихотворение:

*Звёздный дождь из созвездия Льва
Брызнул óполночь, век завершая,
Каждой вспышкой сберець обеща́я
Миллионных желаний слова, -*

*В них, столкнувшись, судьба и мечта,
Искушают в случайном свеченье
Разглядеть и понять провиденье, -
И ничтожным душа занята, -*

*Да, ничтожная, молит душа
О своём, чуть жива, чуть дыша...*

"КОГДА Б НЕ СМУТНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ..."

(эссе)



"И жизнь, и слёзы, и любовь."
А. Пушкин, "К***", 1825 г.

*Пустеют дни, как сны, как всё на свете...
Но там, дали, за тёмной бездной лет,
Он весел и по-моцартовски светел -
России легкомысленный поэт.*

*Ночь тлеет над Михайловским туманно,
Клубится лёгкой дымкой у пруда,
Где в полутьме мерцают плечи Анны
И лик поэта светлый навсегда.*

*Спи, ночь, дышите, липы, вей, прохлада,
Над вечностью, поэтом, над судьбой,
Где не стихи его любви награда,
Но лишь само мгновенье ночи той.*

*Спи, ночь, тверди, душа, лелея это, -
Забыв пустую молвь и суесловь, -
Прекрасный сон России, ночь поэта,
Его и жизнь, и слёзы, и любовь.*

Неожиданно началась метель. Чингизские горы сначала задёрнулись серым, потом совершенно слились с небом.

Быстро темнело...

Шофер включил фары, но в салоне света не зажигал: он видел, что почти все пассажиры дремали, утомленные этой долгой и трудной дорогой.

Крупный встречный снег надвигался шевелящейся, скручивающейся массой, сплошным потоком, лишь у стекла, в свете фар, разбиваясь на различные отдельности.

Снегочиститель беспрерывно смазывал серое сало снега, оно стекало вниз и вновь моментально накапливалось, вбиваемое скоростью, и, наверное, еще встречным ветром.

Это был первый снег осени, неожиданно ранний, скорее всего, случайный, которому наверняка еще суждено растаять.

Было только 16 сентября.

- Дорога Абая, - сказал мой спутник, взглядываясь в боковое окно, за которым уже ничего нельзя было разглядеть, - здесь кочевал тобыктинский род, род Абая... Унылые места... Но весной здесь красота... Цветы, птицы...

Мой спутник, потирая стекло, еще некоторое время взглядывался в окно, потом оторвался, уселся поудобнее, вытянув под переднее сиденье ноги свои в серых джинсах и, нахохлившись, сразу же задремал.

Старый журналист, литератор, заядлый пушкинист-любитель, исколесивший за десятки лет работы собкором все эти степи, он не любил терять понапрасну время, - тем более, из окна не проистекало никакой информации.

Там проистекало пространство...

Миллионы снежинок беспрерывно влетали в сдвоенную трубу света, образуемую лучами фар, влетали неоста-

новимо, как-то торжествующе-обреченно. Они вывинчивались из боковой тьмы, ниоткуда, неожиданно большие и лохматые, - и казалось, что этим бесконечным облетанием множеств рассыпалось в прах само мироздание...

В автобусе уже все спали, однообразно и равномерно покачиваясь; дремали пограничники на заднем сиденье; спали среди своих мешков и ящиков геодезисты. Бодрствовал только маленький сухой старик-казах у прохода. Он сидел неподвижно-прямо, положив костистые темные руки на посох, и строго, не моргая, смотрел вперед, за плечо шофера, на бесконечную осеннюю дорогу.

Я посмотрел на шофера. Он нервничал, курил, беспрерывно перекачивая папироску в зубах, и напряженно подергивал руль. - видимость была нулевая...

Мотор гудел ровно, и я вновь погрузился в раздумья, которые не оставляли меня всю эту поездку...

В такую же осень, 150 лет назад, коляска Пушкина, влекомая почтовой сменной тройкой, катила по тракту Симбирск - Оренбург. Поэт целеустремленно двигался по пути, пройденному Пугачевым шестью десятками лет раньше, и оставался еще один, последний четырехдневный перегон до самого сердца пугачевщины, - Оренбурга и Уральска, откуда и разнеслась когда-то на треть империи стихия кровавого, трагически обреченного крестьянского бунта.

Едва ли эта поездка могла добавить что-то существенное к тому, что Пушкин уже отыскал в частных и царских архивах и книгохранилищах. Обильные выписки из всего этого находились здесь же, в дорожном сундучке, на котором посапывал сейчас этот несносный Ипполит, его слуга, нанятый на дорогу в Москве, - раздражавший и бесивший Пушкина беспрестанно.

Конечно, документы - есть документы, но нужно бы-

ло вдохнуть еще и ветер времени, запах этих степей, нужно было здесь отыскать какую-то внутреннюю, неосязаемую еще точку отправления, вокруг которой, как от закваски, начнет бродить и оживать безжизненный еще замес всех этих выписок...

Уже на другой день после Симбирска увалы Общего Сырта стали заметно положе, степь все смелее и чаще вторгалась в пейзаж, места становились глуше, пустышнее.

По хлипким мосткам, по чаще вброд, экипаж пересекал тихие степные реки, и Пушкин не забывал у очередного возницы спрашивать об их названиях. И он не мог не заметить некоторой странности здешних имен. Названия рек были то откровенно тюркские, - Сок, Бугуруслан, Кинель, - то вдруг начинали перемежаться явно ирано-зычными, - Уран, Бузулук (не от "бузрук" ли - великий?) - а то вдруг веяло чем-то уже совершенно библейским, - Самара, Сакмара, - словно бы отзвук далекого хазаро-иудейского пласта.

Земля здесь, сейчас малолюдная, была, однако, хорошо протоптана историей, и слои без конца меняли друг друга, застыв теперь в этой странной чересполосице названий...

Автобус все летел сквозь ночь и снег, и, думая о Пушкине, я вспоминал те места оренбургского Сырта, переходящего в степь, которые знал чуть не наизусть: это была моя родина.

И четыре пушкинских дня в середине сентября 1833 года, в один из которых он пересечет маленькую крепостцу, теперешний районный городок Бузулук, где я когда-то жил, где прошла моя молодость, где похоронена моя мама, - четыре эти дня для меня предмет постоянной радости и боли сердца и постоянных раздумий.

И это - не от тщеславного стремления приобщиться косвенно к великому или уловить некий тайный знак в воображаемом пересечении судеб, (мало ли людей живут в

тех же домах, и ходят по тем же дорогам, где бывал и ходил живой Пушкин?), - в этом смутном влечении к постоянному сопутствованию, может быть, самое главное - это само *влечение*, которое уже вошло в плоть и кровь и стало внутренне привычным и почти родным...

И если бы вдруг оказалось, что Пушкин на самом деле миновал мою родину, маленькую крепостцу Бузулук, и проехал гораздо севернее (что, в общем-то вполне возможно), я лишился бы чего-то важного для себя, к чему привык давно и накрепко...

Собственно, я и увязался в эту поездку с моим немолодым спутником в надежде и ожидании большого разговора с ним, знатоком и ценителем Пушкина, - с тайным желанием подтвердить свои воображаемые, может быть, предположения...

Но всю неделю этой командировки мой спутник метался по району, собирая будущий очерк, а потом, поддавшись своей обостренной журналистской совестливости, выручал из беды какого-то совершенно постороннего человека, - и все вдруг, с этим человеком, оказалось не так-то просто, запутаннее, и, как всегда в жизни, - неоднозначнее.

Мой спутник являлся по вечерам в гостиницу с темным от гнева и разочарования лицом, запыленный, усталый, - едва перекусив, бросался в постель, - и у меня не поворачивался язык завести с ним разговор на столь отдаленную от всего этого тему.

Я делал свое маленькое дело в этой необязательной для меня командировке, но больше гулял по пыльным осенним улочкам казахстанского посёлка, так похожим на улочки города моей родины, думал о странностях случайных пересечений в этом мире и еще о том, что прошлое можно восстановить лишь отчаянным воображением, и то лишь на миг и приблизительно.

Облетали под осенним ветром листья с тополей, и этот ветер ощущался почти как ветер времени, застилающий память бесконечным облетанием множеств...

Коляска Пушкина осторожно спускалась на тормозах с Сухореченской горы к реке. Глинистый сухой спуск вдоль долины ручья становился порой настолько крут, что возница просил барина выйти из коляски. Вдали, внизу за рекой виднелась крепостца; Пушкин шагал по обочине, отворачиваясь от пыли, и в осеннем небе, прямо над головой журчали последние жаворонки.

Скоро, вот-вот, они отлетят на юго-восток, пересекут всю степь и скроются за горами в южном далеком краю.

Так же сорвутся вдаль и здешние степные птицы. Они пронесутся над кочевьями казахского рода тобыкты, где молодой волостной управитель, почти ровесник Пушкина, Кунанбай, будет наблюдать у своей белой юрты, как взнуздывают двухлетних жеребят. У этого властного и сурового человека с обезображенным оспой лицом через двенадцать лет от одной из четырех жён - Улжан родится сын Ибрагим, который станет великим поэтом своего народа - Абаем.

В степи, такой просторной и вольной, было спокойно и тесно; доносились слухи о Кенесары, который с отрядами джигитов опустошал на юге, на землях Большой Орды, зимовки соседей.

Эта степь еще ждала не только мира и покоя, но и своего пророка и оплакивателя...

А может быть, птицы свернут и устремятся вдоль прямой и широкой долины спокойного в это время Иртыша. Промелькнут внизу мелкие крепостцы, казачьи станицы, желтеющие стернею косые косынки сжатого хлеба, рогатые стога по лугам...

На берегу Бухтармы увидит этих птиц ссыльный де-

кабрист Матвей Иванович Муравьев-Апостол. Он выйдет посмотреть, как казаки крепости начнут свою первую осеннюю путину, - вот-вот должна пойти пельма, - и заглядится с печалью на небо. Еще три года отбывать ему в этой крепости ссылку, старшему из трех братьев-декабристов, но ему пока неведомо это. Как и неведомо то, что проживет он необыкновенно долго - 93 года, почти вдвое дольше обеих жизней двух своих младших братьев, один из которых уже казнен, а другой - застрелился...

Автобус сильно качнуло, мой спутник вздохнул во сне, встрепенулся, как-то недовольно огляделся и вновь задремал. Голова его ушла вбок, рот открылся, и лицо приобрело безмятежно-детское выражение, очень понятное мне, как-то сближающее и упрощающее и наши возрасты, и возможные отношения между нами, стань мы ровесниками.

Я хорошо могу представить его мальчишкой, там, где-нибудь на предвоенном арбатском дворе, где вызванивают велосипеды, треплется белье на верандах, где с утра до вечера пинают мяч. Сам я еще не родился, да и родители мои едва знакомы друг с другом, они студенты и гораздо старше моего спутника. Они учатся в военно-медицинской академии, учатся быть готовыми к войне, которая разразится через три или четыре года.

А он в том арбатском дворе. Он подросток, - долговяз, черноголов, носат. Походка путаная, ноги отстают от тела и худые коленки постоянно задевают друг друга.

Почему-то я хорошо могу представить его, он проецируется в свое прошлое легко, как бы упрощаясь и стихая. Вот он, интеллигент, нытик, обжора и ябеда и его постоянно лупят... Я бы тоже лупил бы его и обзывал, ибо нет беспощаднее и справедливее суда мальчишеской стихийной стаи...

Да, но как бы я его обзывал?

Ну конечно же так, как и все - Травкой. Травка Попов... Его отец, забытый сейчас детский писатель, написав довольно удачную для тех лет книжку о любопытном мальчике Травке, с которым в большом городе происходят разнообразные приключения, - сильно повредил уличной репутации своего сына, и ему теперь нет прохода. Прототип тайно и на всю жизнь возненавидит героя книжки, давшей отцу приличный пожизненный заработок от бесконечных переизданий... Была даже арбатская писательская байка о том, что Попов питается одной "травкой"...

Будет война. И к концу ее, когда мне исполнится два или три года, подойдет срок и моему спутнику надеть военную форму.

Он захочется от неведомых мне ужасов войны, - заряжающим тяжелого зенитного орудия, на которое летели все бомбы неба. Обстреливающие небо, они сами были настежь открыты ему, они были один на один с этим небом...

Война переломает его. Она переоценит в нем все бывшие ценности, и он простит своих оставшихся в живых ровесников, он станет любить их и всю жизнь служить им, их памяти. - Навеки я теперь заряжающий, - несколько напыщенно говорит он в иные минуты, - и, в общем, это на самом деле так, хотя слова эти можно бы и не говорить...

Может, все не так, или не вполне так... Ветер времени, как и ветер памяти имеет свойство преломлять в своей прозрачной массе очевидное, а потом и это все застилается бесконечным облетанием множеств. Ведь даже и своя прожитая жизнь совсем не та, чем она была на самом деле, она бесконечно редактируется во времени, выщелачивается, иногда, просто забалтывается, - и в конце концов, уже мало остается истинного, того, что было...

А что же было, если оно на самом деле было?..

Коляска Пушкина прогромыхла по ветхому наплавному мосту через Самару и въехала в крепость.

"Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни, и вал; но ничего не видел, кроме деревушки..." - так описывал Пушкин в "Капитанской дочке" Белогорскую крепость.

Наверняка и наш городишко в те годы был такой же захудалой и ничтожной крепостцой, одной из многих на самарской линейной дистанции.

"Передо мной простиралась печальная степь. Наискось стояло несколько избушек; по улицам бродило несколько куриц..."

"Избы низки и большей частью покрыты соломой..."

Постоялый двор, умет, и почтовая станция находились на свертке, как раз там, где дорога позади крепости углом поворачивала на восток, уже прямо к Оренбургу. В это время в губернию везли хлеб, и коляска Пушкина на въезде в крепость то и дело обгоняла громыхающие пыльные телеги и мужиков, идущих обок, тоже запыленных. Усталых, едва поворачивающих головы на звон бубенцов.

Мне хочется сейчас, чтобы здесь, у постоялого двора Пушкина встретил бы снеговой заряд, вполне уже возможный в этих местах в это время. Чтобы коснулось его именно там беспощадное в своем равнодушии сквозящее облетание множеств. И мне хочется этого не для вящего эффекта или собственного удовольствия, а для того, чтобы самому осязаемо почувствовать единую волну времени, слепое его движение, где все-таки мы все переплетены неразрешимо и навеки...

Но мало ли чего хочется. Достоверно известно, что осень 1833 года была суха и настоящий снег встретил Пушкина уже на обратном пути, когда, посетив Оренбург и Уральск, он спешил в свое Болдино.

"Того мало: выпал снег, и я обновил зимний путь, про-

ехав верст 50 на санях..." - это из письма жене, Наталье Николаевне, написанного уже из Болдина 2 октября, - о дороге из Уральска.

И еще из того же письма:

"Надобно тебе знать, что нынешний год была всеобщая засуха, и что бог угодил на одного меня, уготовя мне везде прекраснейшую дорогу..."

Но вот из более раннего письма, от 19 сентября, из Оренбурга:

"Насилу доехал, дорога прескучная, погода холодная..."

Итак, снега еще нет, но холодно.

Так пусть хотя бы случайный заряд легкой сыпучей крупы при солнце и ветре встретит Пушкина в тот момент, когда он вылезает на постоялом дворе из коляски. Он придерживает шляпу рукой, а в его курчавой бородке белеют и тают жесткие крупинки снега.

В той поездке Пушкин отпустил бороду и усы, - может быть, для того, чтобы острее ощутить себя путешественником, искателем.

Хотя, в общем-то, вся жизнь его была бесконечным путешествием и поиском. По подсчетам пушкинистов Александр Сергеевич наездил за жизнь 34 тысячи верст. Это и по теперешним временам немало, а если учесть, что мир, наблюдаемый из окна довольно медленно передвигающейся коляски несколько иной, нежели видимый из иллюминатора самолета или даже из окна мчащегося поезда, то Пушкин и здесь вне конкуренции. Свой мир он рассматривал пристально и неспешно, и этот мир был веществен, осязаем, густ и до предела насыщен общениями.

Его физическая связь с землей была абсолютной, прочувствованная навсегда ногами, всем телом, - на тряских грунтовках России, на бесконечных мостках и бродах, на крутизне Симбирского спуска к Волге, на каменистых тропах Молдавии и Кавказа...

16 сентября 1833 года...

Какие бы точки опоры расставить вокруг этого дня, что бы он не зависал в воздухе? Что происходило в этот или близкие этому дни на необъятной Родине моей? На чем самом дорогом сосредоточиться, чтобы возник объем именно живой жизни, а не свитка дат?

Тридцатилетний Тютчев прибывает в Грецию с дипломатическим поручением. Им написаны к этому году и гениальный "Silentium", и "Весенние воды", но как поэт он никому еще не известен. Примерно в этот день он сочиняет фантастический "Сон на море", стихи совершенно невероятные и едва ли не единственные такого рода в его творчестве, где он "зрел тварей волшебных, таинственных птиц..."

Льву Толстому - пять лет.

Тургеневу - пятнадцать.

Двадцатичетырехлетний Гоголь в Петербурге работает над "Историей Малороссии" и мечтает о кафедре истории в только что открывшемся Киевском университете. В этих странных претензиях на академическую ученость уже и современники его видят зерно будущей болезни духа, будущих противоречий, приведших писателя почти к полному самоотречению и сжиганию своих рукописей.

Кстати, пушкинская поездка в Оренбуржье прямым образом сказалась и на творческой судьбе Гоголя. Поэт позже рассказал Гоголю, что губернатор Оренбурга Перовский был предостережен секретной бумагой в том, что Пушкин прибыл не для сбора пугачевских материалов, но для тайной ревизии действий местных чиновников. Этот полуанекдот был блестяще использован Гоголем для создания "Ревизора". Но это - позже...

Двадцатидвухлетний Белинский, исключенный из московского университета, пробавляется в это время случайной переводной работой, изучает современную ему лите-

ратуру, - и он весь уже на подходе к себе, к тому Белинскому, чьи суждения, спустя некоторое время, станут духовной опорой разночинной России. Чахотка уже подкрадывается к нему, и если дух его только лишь начинает воспламеняться и восставать, то тело уже медленно и неотвратно умирает...

Где-то рядом, в той же Москве марширует по плацу юный курсант Школы гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров Михаил Лермонтов. Впереди еще один год муштры, казенщины и почти абсолютной творческой пустоты. Здесь рядом, может быть, даже плечом к плечу, стоит его товарищ Николай Мартынов, чьей пулей он будет убит спустя 8 лет. Пути убийцы и жертвы уже сблизились и пошли далее неумолимо и безысходно. - до последнего пересечения...

Мой спутник неожиданно повернулся и внимательно посмотрел на меня. Наверное, я пробормотал что-то вслух, и, чтобы отвлечь внимание, спросил:

- Вы не знаете, когда Дантес прибыл в Россию?

Мой спутник улыбнулся и не без иронии четко ответил:

- Молодой шуан Дантес прибыл в Россию на корабле "Николай I" первого октября 1833 года... Кстати, вместе с бароном Геккерном.

- А когда, примерно, отплыл?

- Ну, это довольно легко подсчитать... Видимо, где-то в середине предыдущего месяца... Этак, 16 сентября...

Я чуть не вздрогнул. Значит, в тот день, когда Пушкин проезжал мимо маленькой Бузулукской крепостцы, будущей моей родины, Дантес садился на корабль, чтобы плыть в Петербург. Через три года он убьет Пушкина, и все эти три года, начиная с 16 сентября, пути их будут неотвратно сближаться...

Снег все мчался навстречу автобусу, но странно, - дорога была не замечена, видимо, автобус шел или вместе со снеговым фронтом или вдоль него. Хаотическое, бесчисленное опадание с бесконечными пересечениями лепило пространство впереди, и не было никаких видимых законов и закономерностей в моментах этих опаданий и пересечений.

И не было никакой возможности понять необходимость пересечения и наших судеб, моей и моего усталого спутника, который снова задремал рядом...

Тридцать пять лет назад восьмилетний мальчик, сидящий на открытой платформе эшелона, вывозящего людей из разрушенного землетрясением Ашхабада, - этот мальчик едва ли мог предположить, что будет когда-то бок о бок сидеть с героем своей любимой книжки, с Травкой, живым, правда, сильно изменившимся и уже давным давно не мальчиком...

На ночь эшелон останавливали прямо в пустыне. Из саксаула и сухой травы разжигались большие костры и все эвакуированные жарили батат и открывали банки с баклажанной икрой, - этот единообразный паёк беженцам...

Запах жареного батата я помню до сих пор так же отчетливо, как голос моей матери, звавшей меня по имени, когда они с отцом откапывали меня из-под развалин нашего обрушившегося дома. Меня спас толстый текинский ковер ручной работы, сползший со стены вместе со штукатуркой.

При свете саксаулового костра, овеваемый запахами жареного батата, который запросто именовался мартошкой, я дочитывал "Приключения Травки", - единственную книгу, которую я сумел вытащить из-под развалин дома. Потом и эти развалины были придавлены рухнувшей позже глухой стеной соседнего драмтеатра, кстати, имени Пушкина. Нашего тогдашнего дома не стало. У нас было потом множество разных жилищ, в том числе и тот, последний

наш дом у дороги, где когда-то проезжал Пушкин.

От костров доносились смех и плач. Многие потеряли близких там, в мгновенно уничтоженном городе, в его пыльных руинах и пожарах, бушевавших еще несколько дней... Многие говорили об атомной бомбе, о том, что первая мысль после катастрофы возникала именно о бомбе, что было вполне резонно: шла холодная война и нам беспрерывно грозили.

Как я мечтал быть Травкой! Я мечтал пойти в зоопарк, заблудиться, как он, в метро, есть эскимо на бульваре... Я не знал, что такое эскимо, что такое зоопарк и бульвар, - я многого не знал, и не поверил бы в то время, если б узнал, насколько интереснее было бы самому затравленному московскому Травке быть мной, мальчиком после землетрясения, едущем на открытой платформе через пустыню и читающем книгу при свете саксаулового костра, овеваемым сытным запахом сладковатой чужеземной мартошки.

Я посмотрел на своего спутника, на его совершенно белую, коротко остриженную голову, и мне стало нестерпимо его жалко, и жалко-то в общем-то не его, человека, вполне и по таланту преуспевшего, а жалко его возраста, его большой и сложной жизни, подвигающейся к тому, что не остановить, не оградить никаким душевным порывом...

Мой спутник, видимо, почувствовал взгляд и вопросительно поглядел на меня.

- Скажите, что такое шуан?

- Однако же... Вы, часом, не стихи ли сочиняете, батенька? Шуан, это, грубо говоря, контрреволюционер... Солдат европейских монархий... Что еще?

- Дантес... Когда он умер?

- Дантес умер в городе Сульце поздней осенью 1895 года, прожив 83 года... Геккерн, кстати, прожил 94... Живучи были, подлецы...

Снег бесконечно летел навстречу, слабые тени Чингизских гор едва угадывались за окном, и опять захотелось заглянуть за временные границы, переселившись воображением в такую же снежную осень 1895 года, год смерти убийцы Пушкина, поискать какие-то опорные точки.

Поздней осенью 1895 года Лев Толстой писал "Воскресение".

Владимиру Ульянову было двадцать пять лет.

Тургенев и Достоевский уже умерли.

Попов испытал свой аппарат, прототип радио.

Немецкий торговец дикими зверями Карл Гагенбек, прогорев с животными, осваивал новое прибыльное дело: "этнографические" выставки. В тот год в Берлине показывали калмыков. Живые люди со своим scarбom, с верблюдами, детьми, юртами, были выставлены на обозрение обожравшейся зрелищами публике...

Калмыки... Судьба этого народа вплотную соприкасается с судьбой казахского народа. И абаевский род тобыкты кочевал как раз на прежних землях калмыков, переселенных Татищевым за Волгу на Чёрные земли. Этноним "калмыки" прочно запал в лексикон и память Пушкина и он не раз путал, а вернее, поддавался инерции речи, называя калмыками и казахов, и некоторые кавказские народы.

Поздней осенью 1895 года, когда далеко на западе в городе Сульце умирал престарелый Дантес, здесь, в Чингизских горах, в небогатой юрте, освещаемой огарком свечи, тучный, задышающийся, пятидесятилетний Абай прощался со своей молодостью и надеждами.

В этом году в Верном умер от костного туберкулеза его двадцатичетырехлетний сын Абдрахман, блестящий артиллерийский офицер, опора, радость, мечта отца.

Справа налево беглой арабской вязью Абай записывал страшные строки, рожденные одиночеством, горем, непониманием, - трагические стихи, - упрек и стон уже сомне-

вающей в своем предназначении души:

*Детство ли, юность ли вспыхнут впотьмах
Там, у начала дороги, -
Все уж не ярко в усталых глазах
Старости, что на пороге.
Что же ты понял и что ты постиг
В горестях белого света?
Не в пустоту ли срывался твой крик,
В даль, без ответа?
Или на привязи лет, словно зверь,
Только и бился в закрытую дверь?..*

Такие стихи могли бы стать беспощадным упреком и иной стране, и иному времени...

Я никак не могу увезти в своем воображении Пушкина с места моей родины. Как медленно перепрягают лошадей, как долго и нудно бранится с ямщиками во дворе пьяный Ипполит! Он опять тайком хлебнул хозяйского вина и шумит, создавая видимость усердия и рвения.

"Одно меня сокрушает: человек мой. Вообрази себе тип московского канцеляриста, глуп, говорлив, через день пьян, ест мои холодные дорожные рябчики, пьет мою мадеру, портит мои книги и по станциям называет меня то графом, то генералом..." - сетовал Пушкин в своем письме жене от 19 сентября уже из Оренбурга.

Коляска перепряжена, пора ехать... А хороши здесь лошади - киргизские кони!

Через пятьдесят лет сюда будет приезжать за лошадьми Лев Толстой, и местная ежегодная Петропавловская ярмарка будет регулярно пополнять конюшни его богатого самарского имения.

А еще через семьдесят пять лет снесут бульдозерами и величественный Петропавловский собор перед базарной площадью, поставив на его месте унылую железобетон-

ную коробку, которую кощунственно назовут кинотеатр "Березка"...

Станционный смотритель медленно переписывает подорожную гостя в почтовую книгу. Пушкин вяло жуует копченого рябчика, прихлебывает мадеру, смотрит в окно и, наверное, с грустью думает, что еще и до места не доехал, а уже так надоела эта скучная дорога, пыль, эти пустынные и убогие места... Осень за окном сера, и вся краса ее прощальная, - разве только вон в том рыжем деревце у забора, да в белесом небе с облаком ишительного цвета... Это не оно ли осыпалось давеча крупной снеговой?.. Не начались бы дожди... Нечего тут клопов присиживать, пора, пора, пора ехать...

- Пора бы приехать, - недовольно проговорил мой спутник. За окном снега уже не было, мы наконец-то обогнали ненастье, и автобус теперь мчался уже в бесснежной тьме, едва раздвигая ее перед собой двумя пучками света.

- Ну, и как, додумали свою извечную русскую думу? - спросил меня мой спутник, намереваясь, видимо, затеять какой-либо интересный разговор.

- Какую думу?

- О Пушкине, конечно, о Пушкине.

- Нет... Этого, наверное, не додумать... Знаете, я даже не могу его представить... Живого... Так, какие-то зыбкие отдельности, штришки... Неподвижный муляж... А вы?

- Я? Я раньше мог... Вернее, осмеливался его представить... А теперь... Видите ли, чем больше начинаешь знать о предмете своей любви, тем уже границы воображения, тем трудней представить себе родное... Как бы вам поточнее... Обогащаясь знаниями, обретаешь и ответственность за истину, а ответственность требует все больших знаний... Безвыходный круг...

- А Тынянов? А матвеевские портреты? А Анна Ахма-

това, наконец?

- Все это личностные преломления... По мере сил, по мере таланта... Иногда очень убедительные, порою - гениальные преломления-догадки, но все равно - не реальность... Все это - их Пушкины. А Пушкиных на земле ровно столько, сколько русских... К сожалению, Пушкин большинства - это учебниковый, тот, что проходили, за которого получали двойки и пятерки... Царь, Дантес, Наталья Николаевна, друзья-декабристы... Ну, еще ленивый Дельвиг, импульсивный Кюхельбеккер, любимая няня... Выюга мглою небо кроет, пора, мой друг, пора... Этот хрестоматийный Пушкин никогда не матерился, избави Бог, не пил вина, не волочился без конца за женщинами всех возрастов и сословий... Хотя их у него, по его же скромным подсчетам, было 113, не для досужих сплетен будь сказано...

- Перегнули!

- Не более, чем сам Пушкин, не более... Да поймите же наконец, ведь Пушкин был живой, из плоти и духа, вот, как вы, как я... Вот потрогайте себя, вы живой? Ну, точно такой же был и Пушкин... А это как раз и самое труднопредставимое... Кстати, вы сами что получали по Пушкину, пятерки, небось?..

Я не ответил. Опершись о сиденье, я смотрел вперед, через плечо шофера в то пространство, которое мы пересекали уже давно-давно, почти всю жизнь. И где-то там, в начале жизни, возник опять тот запыленный азиатский городок с полуденными криками ишаков, с мутными арыками, дувалами с вмазанным поверху битым стеклом, которое блестело и сияло в азиатском солнце так, что больно было смотреть.

Нас, эвакуированных после землетрясения детей, в новой школе звали травмированными. С нами нянчились,

прощали шалости, не ставили двоек. Но этой нашей исключительности не могли нам простить наши сверстники, аборигены этой школы. Они звали нас обидно и беспощадно - "трахнутыми" и щедро возмещали на наших загривках всю свою неисклЮчительность.

Террор прекратился тогда, когда в школу прибыла еще одна группа эвакуированных детей, из госпиталей и больниц. Некоторые были еще в повязках, и это совершенно ошеломило старожилы школы, наглядно, простыми и грубыми средствами представив им истину...

Рядом с этим небольшим городком в пустыне разворачивалось в те годы грандиозное строительство сверхканала. Было много шума, рекламы, но потом все это как-то заглохло, переиначилось, отодвинулось, чтобы спустя десяток лет вновь возникнуть, но уже без трескотни и помпы, по-деловому, - и воплотиться-таки в тот самый канал, который сейчас подошёл уже к самому Каспию.

В разгар той шумихи в городке, в числе десятков корреспондентов, набивал руку на ура-репортажах и молодой двадцатипятилетний газетчик, впервые вкушающий неблагодарный репортёрский хлеб. Наши пути скрестились на мгновение, пути травмированного землетрясением мальчика и прототипа Травки, уже порядочно повзрослевшего и почти забывшего о ненавистном герое...

Вполне возможно, мы встретились и физически. Я тогда начинал курить и на всю жизнь запомнил крепкий подзатыльник молодого, носатого, высокого мужчины с густой черной шевелюрой, который вырвал у меня изо рта окурки и с возмущением растоптал его. Это было у дверей областной газеты...

Чем больше я вглядываюсь в ту искорку памяти, высветившую мне лицо случайного прохожего на улице азиатского городка, тем более я утверждаюсь в том, что это был мой теперешний спутник.

Я никогда не расскажу ему о своей догадке, да он и не поверит, а мне будет стыдно...

По вечерам у окна, притенённого огромным тутовым деревом, я зубрил Пушкина. Ненавистные стихи были тяжелы и непонятны:

*Октябрь уж наступил - уж роща отряхнет
Последние листья с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад - дорога промерзает,
Журча еще бежит за мельницу ручей...*

Ишаки ошипывали верблюжью колючку под дувалом, в длинном полосатом халате шел куда-то старый туркмен с двумя дынями под мышкой, гремели лягушки в арыках, - и стихи, заданные к завтрашнему, совершенно не влезали в этот мир, они были абсолютно чуждыми и издевательски косноязычными:

*Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает
В отъезжие поля с охотою своей,
И страждут озими от бешеной забавы,
И будит лай собак уснувшие дубравы...*

Страждут озими - это было выше понимания и казалось, что это вообще не по-русски...

По Пушкину я никогда не имел даже четверок, а двоек нам, травмированным, в тот год не ставили...

Сейчас-то я знаю, сколько музыки, гармонии и бесконечного подтекста таят в себе эти изумительные по чистоте стихи, - и какой это праздник, перечитывать Пушкина... Сейчас я знаю еще, что "Осень" он написал сразу по приезду из Оренбуржья, в свою вторую болдинскую осень, такую же плодотворную, как первую... Мало того, догадываюсь, почему эпиграф к Осени" - "Чего в мой, дремлющий тогда не входит ум?" - взят именно державинский. Тень предшественника сопровождала Пушкина всю жизнь, и особо остро он почувствовал присутствие этой

тени здесь, в оренбургских степях, где когда-то умирал пугачевцев и сам Державин. Где-то недалеко от Малыковки Державин повесил двух мужиков и "высек плетями всю деревню". Пушкин даже записал в примечаниях к "Истории Пугачева": "И. И. Дмитриев утверждал, что Державин повесил сих двух мужиков более из поэтического любопытства, нежели из настоящей необходимости..."

Здесь, на подъезде к городку моей родины, той крепостцы, из которой я постараюсь все-таки в своем воображении увести Пушкина, неподалеку находилось и бывшее имение Державиных, сейчас большое село, до сих пор сохранившее свое название. Тракт на Оренбург проходил мимо самого имения, и Пушкин, проезжая, не мог не ощутить еще одного толчка памяти и, может быть, мысли о странной связи и движении судеб...

Мой Пушкин, наконец, садится в коляску, втягивает за собой полы плаща и быстро захлопывает дверцу. Ворчит что-то про себя Ипполит на переднем сиденье, упакowывая и подвязывая корзины, щелкает бич ямщика, коляска трогается. Сытые свежие кони потянули сразу и сильно, и тройка с разворота вынеслась со двора на тракт.

А дальше...

Я хочу предельно растянуть этот момент своего воображения, эти пять минут, потому что они самые важные для меня.

Сейчас коляска спустится в суходол, потом вновь поднимется.

Пушкин бегло скользнет взглядом по крестам слева от дороги и по маленькой часовенке привычного сельского погоста...

На этом кладбище через 140 лет будет похоронена моя мама...

А немного дальше и уже справа Пушкин мимоходом приметит бугор, заросший степным терновником и иван-чаем, побуревшим и сухим уже...

Здесь будет стоять наш дом, последнее пристанище нашей разрушенной семьи... Дом моей родины...

И еще мне хочется, чтобы Пушкин, оторвавшись от созерцания скучной степной местности, вдруг почувствовал бы непреодолимое желание писать.

Мне хочется, чтобы именно здесь он записал бы в дорожный альбом стихотворение, которое останется помеченным: 1833, дорога, сентябрь:

Когда б не смутное влеченье
Чего-то жаждущей души,
Я здесь остался б - наслажденье
Вкушать в неведомой тиши:
Забыл бы всех желаний трепет,
Мечтою б целый мир назвал -
И все бы слушал этот лепет,
Все б эти ножки целовал...

Больше у Пушкина не было ничего, помеченного "дорога, сентябрь". И не об этом ли стихотворении напишет поэт жене своей из Оренбурга спустя три дня, 19 сентября:

"А уж чувствую, что дурь на меня находит - и в коляске сочиняю..."

Но почему мне кажется или хочется, чтобы это стихотворение написалось бы именно здесь, возле маленькой ничтожной крепости, затерянной в диких стенах?

А это - как раз полпути между Симбирском, где у Пушкина были неприятности в дороге (пришлось возвращаться и ехать другим путем), и Оренбургом, где его ждала большая работа по сбору пугачевских материалов, где его ждал В. Даль, поездка в Берды и Уральск, - и где, естественно, было не до сочинительства.

16 сентября - это как раз абсолютное психологическое зависание, точка наибольшего освобождения от предыдущих забот, без надвигающихся будущих.

Стень, неведомая тишь и глушь, печальное вопрошающее безвременье...

Мы, кажется, подъезжали. Вдали за холмами разливалось понизу зарево еще невидимого города; автобус оживился, послышались разговоры. Мой спутник тоже несколько взбодрился и был уже весь внутренне там, в своём кабинете, у своего стола, в своей работе, которой у него накапливалось всегда, как он выражался, под завязку... Ну, а пути-дороги, что ж, это обычные издержки производства, досадные пустоты, - и хорошо, если в дороге есть попутчик, и лучше, если б не надоедливый... Но у меня вертелось еще несколько вопросов, и мой спутник, видимо, почувствовав это, сам пошел навстречу:

- Вы все еще с Пушкиным?

- Да... Как вы думаете, что было основным у Пушкина в жизни? Не просто основным, а внутренне непреходящим?

- Ого! - Так прямо и сказать?.. Хотя, что ж... Грубо говоря, - стремление к покою и воле. Покой и воля - это же хрестоматийно, об этом он беспрерывно писал и сам...

- Но, может быть, это так, дань настроениям?

- Что ж, давайте проследим, это несложно...

Мой спутник знакомо мне насупился, несколько склонил свою небольшую седую голову, - и мне в который раз показалось, что он вновь что-то включает и перелистывает в себе, и вновь подумалось, какой это безупречный и прекрасно отрегулированный аппарат - его голова, как великолепно все там устроено и налажено...

- Вот, "К другу стихотворцу"... Заметьте, Пушкину всего 15 лет:

*Быть славным - хорошо,
Спокойным - лучше вдвое...*

Конечно, здесь еще перепевы, юношество, но мысль не уходит:

*Не лучшие ли в деревне дальней
Или в смиренном городке,
Вдали столиц, забот и грома
Укрыться в мирном уголке...*

Это "Послание к Юдину", тоже юношество... А вот Пушкину уже 20 и его знаменитое:

*Приветствую тебя, пустынный уголок,
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья...*

Можно цитировать бесконечно... Вспомните, пожалуйста, "Узника", "Не дай мне бог сойти с ума", ну, наконец, "Пора, мой друг, пора..." Я не знаю, исследовал ли кто-нибудь пушкинскую тему убегания, наверняка, кто-то и копошился уже в этом, - но мне кажется, это - основная тема Пушкина, не внешняя, а внутренняя, даже подспудная, и она постоянно пробивалась у него, иногда даже вопреки желанию...

- Вы не упомянули еще стихотворение "Калмычке"...

- Ах, да, конечно же:

*...не все ль одно и то же:
Забиться праздною душой
В блестящей зале, модной ложе
Или в кибитке кочевой?*

- Или в кибитке кочевой, - невольно повторил я и спросил:

- Как Вы думаете, если бы перед Пушкиным стоял пример Абая, не усомнился ли бы он в верности своего стремления?

Мой спутник поморщился:

- Ну что Вы опять тасуете время, это не вполне корректно... Абай жил на своем месте и в свое время, но вообще это явление, можно сказать, загадочное... Каким же духом надо было обладать, чтобы здесь, в абсолютной глуши, почти в полном духовном и творческом одиночестве, - бороться, творить, мало того, экспериментировать... Поставь сейчас наших поэтов в подобные условия. то есть - не плати им гонораров, не издавай их, не печатай, не давай им общаться друг с другом, - да они едва ли не поговорно прекратят всякое творчество, сдадут машинки в коммиссионки и пойдут трудиться в конторы...

Вообще, повторяю, вопросы странные... Ну, как можно перекраивать временные границы, да еще так произвольно?

- Да, конечно... Но, простите, еще вопрос... Где написано Пушкиным "Когда б не смутное влеченье..."?

- Пушкин подписал это довольно точно: "сентябрь, дорога"... А вот где?.. Сам я думаю, вернее, мне хотелось бы, - по дороге из Уральска в Болдино, то есть - на казахстанской земле... Хочется, чтобы хоть одно стихотворение Пушкин написал здесь, в Казахстане... Но это мое, так сказать, личное желание, - я ведь патриот этого края... А вы думаете иначе?

- Я думаю, эти стихи написаны несколько ранее...

- Ну, что ж! Останемся каждый со своим... Все равно, наверное, ничего уже не докажешь...

Мы подъезжали. Горизонт весь был в зареве большого города. Зарево мерцало, переливалось, и общий, волнующийся свет постепенно дробился на отдельные. Из размытого светового облака воспаряли точечные множества, и каждое - было огнем.

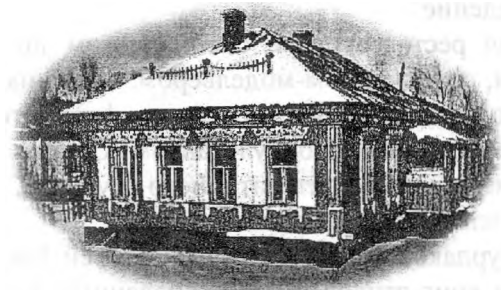
Когда дорога поворачивала, начинали кружить и разворачиваться и эти огни; они выскакивали, заслоняли на

мгновение друг друга; иногда одни светили ярче других - двойным, тройным светом, иногда гасли совсем.

Где-то над этим светящимся, колеблющимся маревом, в дымке зыбкой улетала вдаль от меня коляска Пушкина, и два мальчика бежали вслед за ней, может, это были Травка и мальчик после землетрясения...

Сквозящим ветром выдувалась из-под ног их почти невидимая пыль, незаметно застилая дали, видения, их самих...

И никогда б, ничего б не разглядеть в этой мгле, в этом бесчисленном туманном облетании множеств, хаотично перечеркнутом миллионами непредсказуемых пересечений, *когда б не смутное влечение*, когда б не горячая, пронзительная надежда и вера в то, что все эти пересечения не случайны, и что мы живы именно и тем лишь, что бесконечно сталкиваемся и пересекаемся друг с другом.



Об авторе

Курдаков Евгений Васильевич родился 27 марта 1940 года в г. Оренбурге в семье военных врачей.



С 1956 по 1968 годы жил в г. Бузулуке, с которым связано и начало творческой деятельности. Был одним из организаторов молодёжной поэтической группы - БОМП (Бузулукское объединение молодых поэтов). Первые стихи были опубликованы в местной печати, районной и областной.

В Бузулуке работал на заводе тяжёлого машиностроения им. Куйбышева фрезеровщиком.

Окончил Высшие литературные курсы Литературного института им. Горького по специальности "критика и литературоведение".

Работал реставратором, специалистом по народным промыслам, художником-модельером, старшим научным сотрудником этнографического музея, флористом-декоратором, литературным консультантом Союза писателей, заведующим отделом литературного журнала, руководителем нескольких поэтических студий...

Е.В. Курдаков - член Союза писателей России, автор двенадцати книг стихов и прозы, изданных в стране и за рубежом, в т.ч. и популярного исследования "Лес и мастертская", а также перевода знаменитой "Влесовой книги".

Соавтор и участник множества коллективных сборников и альманахов, автор более двухсот публикаций практически во всех литературно-художественных журналах страны, лауреат премий журналов "Огонёк" за 1987 г., "Наш современник" за 1988 г и за 1994 г., "Молодая гвардия" за 1997 г. Переводчик с тюркского, исследователь творчества Г.Р. Державина, А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, И.А. Бунина, С.А. Есенина, Низами, Абая.

Художник, скульптор-флорист, участник и лауреат многих региональных и всероссийских художественных выставок, автор нескольких экспозиций парковой скульптуры.

Действительный член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств, лауреат Всероссийской Пушкинской премии "Капитанская дочка" за 1998 г., лауреат Всероссийской Пушкинской юбилейной премии 1999 г.

Живёт в Великом Новгороде, работает заведующим художественной мастерской факультета искусств и технологий Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.

Содержание

Семейный альбом.....	3
Оренбургский букет	5
Тёмная птица над белой водой.....	18
Метель.....	30
"С песнями, борясь и побеждая...".....	47
"Мы не от старости умрём!".....	71
Дождь золотой.....	113
"Сердцу нужно убеганье...".....	115
"Облак трубообразен".....	122
Дождь золотой.....	130
Полторы звезды.....	135
"Когда б не смутное влечение...".....	141
Об авторе.....	168

Евгений Курдаков
ДОЖДЬ ЗОЛОТОЙ
Рассказ, очерки, эссе

2002 г. ГУП «Бузулукская типография»
Тираж 500 Заказ № 1526

